



Уолтер Дж. Чишек

ОН ВЕДЁТ МЕНЯ

Уолтер Дж. Чишек
При содействии Дэниэла Л. Флэгерти
Он ведёт меня

Господь – Пастырь мой;
я ни в чем не буду нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях
и водит меня к водам тихим.
Если я пойду и долиною смертной
тени,
не убоюсь зла,
потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох —
они успокаивают меня.

Моим русским друзьям
Николаю,
Андрею,
Ивану,
Альберту,
Георгию,
Владимиру,
Кате,
Виктору,
Екатерине
Да ведёт их Господь, как водил меня.

*А также моей сестре Хелен Гиархарт и
моему дорогому другу отцу Едварду*

Макколи, S.J., которых Он уже ведёт.

© Институт св. Фомы, 2016

Пролог

12 октября 1963 г. я приземлился в нью-йоркском аэропорту Айдлуалд, проведя неполных двадцать три года в Советском Союзе, в основном в тюрьмах или сибирских лагерях принудительных работ. Мои друзья и родственники, встречавшие меня в тот день, сказали, что с самолета компании BOAC, рейс № 501, я сошел словно новый Колумб, готовящийся заново открыть Америку и начать жизнь свободного человека. Ничего подобного я не чувствовал. Я также не знал, что с 1947 г. я официально считался мертвым, и что мои собратья-иезуиты служили Мессы за упокой моей души, когда меня сочли погибшим в советских лагерях. Я испытывал только чувство благодарности Богу за то, что Он поддерживал меня все эти годы и, Своим Промыслом, привел наконец домой.

Вскоре после того, как в 1928 г. я покинул дом и семью в Шенандоа (Пенсильвания), чтобы вступить в Общество Иисуса, я вызвался участвовать в «русских миссиях». В 1929 г. Папа Пий XI написал письмо ко всем семинаристам, «особенно к нашим сынам-иезуитам», призывая некоторых из них поступить в новый Русский центр, открывающийся в Риме, где будут готовить молодых священнослужителей для возможного будущего служения в России. Там, готовясь к работе в России, я изучал богословие и научился служить Мессе восточного обряда. Но когда меня рукоположили, направлять священников в Россию уже не было никакой возможности, так что вместо этого меня направили в иезуитскую миссию восточного обряда в польском городке Альбертын.

Там и застала меня война, начавшаяся в сентябре 1939 г. Немецкая армия захватила Варшаву, а восток Польши и Альбертын были заняты красными. В суматохе этих вторжений я, вместе со множеством польских беженцев, направился в Россию. Переодетый в рабочего, я сопровождал их в надежде послужить им в духовных

нуждах. Но мне не удалось обмануть советские Органы^[1]. Как только в 1941 г. Германия напала на Россию, НКВД арестовал меня и посадил в тюрьму.

Меня отвезли на поезде в ужасную московскую тюрьму Лубянка, где допрашивали как «шпиона Ватикана». Все военные годы я провел в этом учреждении, где меня периодически, подчас довольно интенсивно, допрашивал НКВД. Затем, проведя там пять лет, я был приговорен к пятнадцати годам принудительного труда в трудовых лагерях Сибири. Вместе с тысячами других людей я работал в трудовых бригадах – на стройках, где приходилось трудиться в условиях арктического холода, или на добыче угля и меди. Мы были плохо одеты, плохо ели и жили в деревянных бараках, окруженных колючей проволокой и «запретной зоной»^[2]. В этих лагерях люди умирали, особенно те, кто терял надежду. Но я уповал на Бога, никогда не чувствовал себя оставленным и не утрачивал надежду, и – как и многие другие – выжил. То, что я выжил, никогда не казалось мне чем-то особенным или необычным, однако я был благодарен Богу за то, что все эти годы Он хранил и поддерживал меня.

Когда мой срок наконец истек, меня не освободили полностью. Поскольку у меня была «судимость» по обвинению в шпионаже, я не мог даже уехать из Сибири в центральные города России, не говоря уже о том, чтобы покинуть страну. Поэтому я жил в сибирских городах и деревнях, работая, среди прочего, автомехаником, пока в 1963 г. благодаря усилиям родственников и друзей, а также помощи Государственного департамента США меня не обменяли наконец на двух осужденных русских шпионов. Когда я вернулся, мои настоятели и несколько издателей убедили меня, что история тех лет, которые я провел в Советском Союзе, в то время как на родине меня считали мертвым, представляет немалый общественный интерес. Поэтому я согласился рассказать эту историю, что и сделал в книге «В России с Богом».

И все же, если быть честным, это была не та книга, которую мне хотелось написать. Я чувствовал, что эти годы невзгод и страданий

научили меня многому, что могло бы пригодиться в жизни и другим. Ведь страдания выпадают на долю каждого человека, каждый из нас иногда бывает близок к отчаянию, каждому порой хочется спросить, почему Бог позволяет злу и страданию обрушиваться на него или тех, кого он любит. В лагерях и тюрьмах я видел много страдания в окружающих, почти отчаялся сам и в эти самые черные часы научился обращаться за утешением к Богу и уповать на Него одного.

«Как Вам удалось выжить?» – вот вопрос, который чаще всего задавали мне журналисты и другие люди с тех пор, как я вернулся домой. Я всегда отвечал одинаково: «Промысел Божий». И все же я знал, что это простое утверждение не может удовлетворить их интерес или хоть отдаленно передать все то, что я хочу сказать этим. Многие годы одиночества и страданий Бог вел меня к пониманию жизни и Его любви, чья глубина известна лишь тем, кто испытал ее. Он лишил меня множества внешних утешений, физических и религиозных, на которые обычно уповают люди, и оставил мне лишь некое ядро простых, на первый взгляд, истин: лишь они и вели меня за собой. И все же какое огромное значение имели они для моей жизни, какую силу давали мне, какое мужество идти вперед! И я захотел рассказать о них другим; я чувствовал даже, что Господь в Своем Промысле сохранил меня и вернул домой во многом именно для того, чтобы я помог другим немного лучше понять эти истины.

Поэтому даже на страницах своей первой книги, «В России с Богом», я старался хотя бы немного рассказать о том, что, как я знал и чувствовал, мне следовало рассказать, чтобы дать читателю хоть какое-то представление об истинах, которые вели и поддерживали меня. Я знал, что на страницах этой книги не смог сделать это должным образом: задачи книги накладывали на меня определенные ограничения, – но меня утешало множество поступавших ко мне писем и личных просьб о духовном наставничестве, свидетельствующих о том, что некоторым образом читатели этой истории прочли между строк гораздо больше, чем я

смог сказать. Я уже знал, что когда-нибудь должен буду написать эту книгу.

Однако я знал, что не справлюсь с этим сам. Какие бы важные причины ни побуждали меня к этому, как бы сильно ни было мое желание проделать эту работу, я слишком хорошо понимал, что мой ограниченный писательский дар не соответствует стоящей передо мной задаче. Я никогда не считал и не буду считать себя писателем. Однако мысль о том, *что* я должен передать, *чем* должен поделиться с другими, так занимала меня, что после двух лет нерешительности, я вновь обратился к отцу Дэниэлу Л. Флэгерти, S.J., который очень помог мне в работе над первой книгой, и рассказал ему об идеях и мечтах, связанных с новой книгой. Для меня он не просто сотрудник или замечательный редактор: за несколько лет нашего знакомства и сотрудничества он стал одним из ближайших моих друзей, почти частью моей души. Если бы он отказал мне, я думаю, я тут же раз и навсегда перестал бы и помышлять о писательстве. Но он не отказал. Он согласился вновь помогать мне, и его поддержка вдохновила меня на новые свершения.

Однако оказалось, что эту книгу писать гораздо труднее, и мне потребовалось очень много времени, чтобы выразить словами то, что я чувствовал и хотел сказать. Но еще больше времени порой требовалось Дэну чтобы понять меня, поскольку одному человеку трудно до конца ухватить мысль другого и письменно выразить то, что им движет. Однако некоторым образом, благодаря Божьей помощи, молитвам множества друзей и терпению Дэна, книга наконец обрела законченный вид и, даст Бог, после долгих месяцев работы наконец появится в печати. И теперь, когда она завершена, я могу лишь надеяться, что она окажется полезной тем, кто прочтет ее, – и молиться об этом.

Если мои надежды оправдаются, я хотел бы, пользуясь случаем, выразить свою глубокую благодарность всем, кто помогал мне справиться с этой задачей – поддерживая меня молитвой, а также морально и материально, – в то время как я опасался, что мне

придется биться над ней в одиночку. Думаю, не нужно объяснять, как я обязан Дэну, отдавшему столько времени и сил тому делу, которое – я чувствовал – должно было свершиться. Я также в долгу перед отцом Джоном Б. Эмбергом, S.J., позволившим мне более полугода провести в Доме св. Петра Канизия, иезуитском писательском доме в Эванстоне при издательстве Лойола Университи Пресс, где я смог всерьез посвятить себя подготовке окончательного варианта этой рукописи. Я столь же обязан и всем членам общины Дома св. Петра Канизия за их терпение и духовную близость, которая сделала мое пребывание там исключительно приятным и плодотворным. Это время я не забуду никогда. Разумеется, я глубоко благодарен и членам общины Центра восточных исследований им. Иоанна XXIII при Фордемском университете, к которой принадлежу сам. Они позволили мне отсутствовать в общине более шести месяцев и посвятить все свое время созданию книги, взяв на себя все те обязанности, которые были бы возложены на меня как на активного члена общины, если бы я остался дома. Я также искренне благодарен Мэри Хелен О'Нил за тот щедрый вклад, который она внесла в длительный и сложный процесс создания этой книги. Наконец, я хочу поблагодарить всех, чьи имена я не назвал, за любую помощь, большую или малую, которую они оказывали мне во время работы над книгой. С молитвой и наилучшими пожеланиями,

Уолтер Дж. Чишек, S.J.
Дом св. Петра Канизия
31 июля 1972 г.,
в день св. Игнатия Лойолы

Глава первая

Альбертын

«Красные здесь. Они заняли город. Советские пришли».

Эта новость волной смятения охватила польский городок Альбертын 17 октября 1939 г. В то памятное утро я едва успел отслужить Мессу и позавтракать, когда сбитые с толку прихожане пришли в нашу миссию, чтобы поведать мне новость. Этой новости мы боялись с тех пор, как стало ясно, что Германия и Россия делят Польшу между собой. Но теперь наш страх стал реальностью. Красные были в Альбертыне.

Прихожане, один за другим, толпясь, приходили в миссионерский дом, чтобы узнать мое мнение, спросить совета, услышать хоть слово надежды или утешения. Они боялись за родных. Они боялись за своих сыновей в польской армии и за мужей в правительстве. Они беспокоились за детей и за их будущее. Я пытался их обнадежить, но что, в сущности, я мог им сказать? У меня не было ответов на их насущные, животрепещущие вопросы, и как мог я дать им надежду на будущее или утешить их в такой суматохе, охватившей весь город? Что мог я сказать им, кроме того, что нужно молиться и уповать на Бога?

Но даже здесь я чувствовал себя глупо. Я провел с ними чуть больше года. Я был священником чуть больше двух лет. Каким же незрелым и неопытным почувствовал я себя в ситуации этого великого и нежданного потрясения! Находя поддержку в обычных делах приходского священника, я служил этим людям в их повседневных нуждах, помогал им, утешал их, служил Мессу, носил причастие больным, соборовал умирающих. У меня появилось здесь много друзей, и, пусть я был молод, они доверяли мне – молодому американцу, живущему среди них. Но война изменила все. Потрясение, с которым они столкнулись теперь, не было семейной

ссорой, болезнью или потерей любимого человека. Совет, в котором они нуждались, не касался тех вещей, которые происходят в каждом приходе и которым обучается каждый священник.

Трудно описать то чувство, которое испытывает человек в такую минуту. Чувство, что за одно мгновение все внезапно переменялось и уже ничто и никогда не будет таким, как прежде. Что завтрашний день никогда уже не будет похож на вчерашний. Что деревья, трава, воздух, солнечный свет – все будет теперь другим, потому что мир стал другим. Это чувство невозможно описать, и все же его знает каждая жена, потерявшая мужа, каждый ребенок, впервые вкусивший зло или испытавший нежданный жизненный перелом. Это то чувство, когда сердце говорит: «О, если бы можно было перевести часы назад, о, если бы этого никогда не случилось, о, если бы можно было вернуться и сделать все заново!»

В то утро мои страхи были туманными, хотя чувство беспомощности было реальным. Да и сами страхи вскоре перестали быть туманными и сделались тоже вполне реальными. Сразу после прихода красных начались аресты и конфискация имущества. Последовали бесконечные допросы, угрозы, устрашения, ибо коммунисты старались отловить каждого, в ком видели угрозу себе или своему новому строю.

При этом Церковь стала особой мишенью их агрессии. Церковь восточного обряда при нашей миссии закрыли сразу; приход латинского обряда еще некоторое время был открыт для тех немногих семей, которые осмеливались туда приходить. Остальные здания нашей миссии отобрали красные и расквартировали в них своих солдат. Была развернута пропаганда против Церкви и священнослужителей; мы трудились в условиях постоянного организованного притеснения, а также непрекращающихся крупных и мелких столкновений. Их кампания была плодотворной. Даже самые верные стали остерегаться ходить в церковь и посещать священников. Молодые люди отошли от Церкви быстро. Трудящиеся вскоре поняли, что могут потерять работу, если будут продолжать

ходить на богослужения. Деятельность священнослужителей была строго ограничена храмом; мы не могли пойти к людям, если они не шли к нам сами. А на это решались немногие. Вскоре наше служение полностью свелось к отправлению воскресной Мессы для кучки стариков. Иезуитская миссия, десять лет процветавшая в Альбертыне, была уничтожена за несколько недель.

Снова и снова, глядя на все это, я вынужден был заставлять себя не задаваться вопросом, который, как непрошенный гость, вновь и вновь приходил мне на ум: почему Бог допустил это? Зачем эти преследования? Если Бог должен допускать стихийные бедствия и даже войны из-за падений человечества, почему Он хотя бы не позволит, чтобы во времена этих бедствий кто-то мог пасти и утешать Его народ? Ведь мог же Он защитить и оградить свой народ, вместо того чтобы делать его мишенью такой атаки! Недоумение и боль росли во мне при виде того, как видимая Церковь, некогда сильная и хорошо организованная, рушится под натиском этих захватчиков, а люди, непрерывно понуждаемые к принятию нового строя, все больше от нее отчуждаются. А что сказать о молодых, которых буквально отрывали от родителей, заставляя вступать в пионерскую организацию или Комсомол и уча доносить на собственных родственников-стариков за любое отклонение от генеральной идеологической линии? Страшно было слышать, как коммунисты в своей пропаганде открыто поносят Церковь, священников и монашествующих, и знать, что каждый день в школе на уроках дети вынуждены повторять и заучивать атеистические доктрины. Как мог Бог допустить все это? И почему?

Я не винил людей. Я знал, что веру они не утратили, просто боятся сейчас признавать ее открыто. Они приходили ко мне по ночам, чтобы спросить, как им теперь вести себя, следует ли сотрудничать с новым строем, позволять ли детям вступать в Комсомол, вступать ли в профсоюзы. Наконец, они приходили спросить, будет ли неправильным в подобных обстоятельствах не посещать церковь по воскресеньям и праздникам. Что я мог сказать им? Какого героизма

был вправе от них требовать? Чего ожидал Бог, допустивший все это, от простых, обыкновенных людей, живущих в лесной глуши Альбертына?

Для меня, как священника, было мучительно задавать такие вопросы, но не задавать их я не мог. Они заполняли мой ум во время молитвы, они приходили во время Мессы, одолевали меня днем и ночью. И знаю точно, что не меня одного. Это не был кризис веры – не больше, чем у любого, кто, пережив великую утрату или столкнувшись с семейным горем, задается подобными вопросами. Скорее, это был кризис понимания, и никто не должен стыдиться подобных переживаний. Эти вопросы знакомы каждому, кому приходилось много читать Ветхий Завет. «Доколе, О Господи, доколе Ты будешь позволять врагам нашим торжествовать над нами?». Вопрос этот звучит снова и снова, особенно в дни после Давида, в эпоху пленения, когда слава золотого века Соломона стала лишь воспоминанием при реках Вавилона, а Израиль был сокрушен и с позором уведен в плен. Конечно, Израилю это казалось концом света, концом Завета, концом заботы Бога о Его избранном народе.

И все же, глядя на эти события со своей исторической перспективы, мы понимаем, что все было как раз наоборот. Несчастья Израиля были в действительности особым явлением Промысла Божия, проявлением Его исключительной любви к избранному народу. Как нежный, любящий отец, Он старался освободить Свой народ от упования на царей и князей, на войска и силы этого мира. Вновь и вновь Он старался научить их верить в Него одного. Сквозь все века и испытания Он вел их к осознанию того, что только Бог верен в любом несчастье, что только Бог неизменен в Своей любви и лишь на Бога нужно надеяться, даже когда кажется, что все остальное перевернулось вверх дном. Ягве и ныне – Господь всех событий и явлений этого мира; в этих событиях и явлениях можно найти Бога, и мы должны искать Его в них, дабы исполнилась Его воля. Это Он избрал их – не они Его. Это Он первым заключил с ними Завет, вел их и заботился о них, пас их,

питал и охранял во всех испытаниях. Их же доля в Завете – уповать на Него одного, хранить Ему верность, устремляться к Нему, а не к другим богам, надеяться на Него, а не на правителей, стрелков и колесницы. Он всегда был им верен, потому и они должны быть Ему верны, даже когда Он ведет их туда, куда они не желают идти, в землю, которой они не знают, или в изгнание. Ибо Он избрал их, они Его народ, Он не забудет их, как мать не забудет дитя чрева своего – но и они не должны забывать Его.

Это нелегкий урок. И весь Ветхий Завет – это летопись того, как в разные века, разными путями Господь старался преподать этот урок Своему избранному народу. Но это также свидетельство того, как часто во времена мира и процветания Израиль начинал воспринимать любовь Ягве как должное, привыкать к обыденности, принимать свой статус-кво как самое важное в жизни, видеть свою поддержку и опору в привычном порядке вещей и забывать о своей главной цели и предназначении, о том, что он – народ Завета. Тогда Ягве – падением царства, изгнанием или разрушением Иерусалима – вновь напоминал им, что только Он должен быть их главной надеждой, их единственной опорой, ибо Он избрал их из всех народов мира как знамение Своей любви и могущества, и они должны свидетельствовать о Нем всему миру, уповая на Него одного.

Тот же урок, будь он труден или легок, должен усвоить каждый. Как легко во времена покоя впасть в зависимость от повседневных дел, от привычного порядка вещей и от сиюминутного существования, которое увлекает нас за собой. Все кажется нам самоочевидным, мы начинаем полагаться на самих себя, на собственные силы, «обустройства» в этом мире, видя в нем свою опору. Мы слишком легко начинаем отождествлять покой с ощущением благополучия, искать успокоения исключительно в ощущении удобства. Нас окружают друзья и вещи, один день сменяется другим, мы в целом здоровы и счастливы. Необязательно желать слишком многих благ этого мира – например, быть жадным, алчным, или влюбленным в богатство, – чтобы обрести это

ощущение удобства и благополучия и начать воспринимать присутствие Бога как должное. Мы полагаемся на существующее положение вещей, день за днем несущее нас по течению, и постепенно начинаем терять из виду ту истину, что за всем этим и над всем этим стоит Господь, который хранит и поддерживает нас. Мы живем как живется, нам кажется очевидным, что завтрашний день будет похож на вчерашний, нам удобно в мире, который мы сами для себя создали, и обычный порядок вещей внушает нам спокойствие: пусть он и не совершенен, но мы к нему привыкли, – и мы весьма мало задумываемся о Боге.

Тогда Бог должен каким-то образом прорваться сквозь нашу повседневность и вновь напомнить нам, как напоминал Израилю, что, в конечном счете, мы зависим только от Него, что Он сотворил нас, чтобы мы жили с Ним вечно, что явления этого мира не вечны и не этот мир – наш вечный град, что мы принадлежим Ему и во всем должны надеяться на Него и обращаться к Нему. Наверно, именно тогда он позволяет всему миру перевернуться с ног на голову, чтобы напомнить нам, что не здесь наше вечное пристанище и наш последний удел, чтобы привести нас в чувства и упорядочить нашу систему ценностей, чтобы вновь обратить наши помыслы к Себе – пусть даже в начале эти помыслы полны недоумения и упреков. Именно тогда Он должен – с ужасающей ясностью – вновь напоминать нам, что именно Он хотел сказать в Нагорной Проповеди такими, на первый взгляд, простыми словами: «Не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? Ищите же прежде Царства Божия и правды Его».

Так было с народом Израиля, который должен был научиться не уповать на царей и царства, но быть верным одному лишь Ягве, как Он был всегда верен Своему народу, и уповать на Него одного. Так было и на протяжении всей новозаветной истории. В самой Церкви также случались перемены и перевороты; бывали и преследования. Опора Церкви – не государи и правители, не системы и организации. Ее опора – Бог. Так должно было случиться и в

Альбертыне. Бог будет неизменен в Своей любви, если мы будем просто надеяться на Него; Бог укрепит нас в любую бурю, если мы будем просто взывать к Нему; Он спасет нас, если мы просто протянем к Нему руки. Он здесь, мы же должны лишь обратиться к Нему и научиться уповать на Него одного. Потрясения этого мира – даже самой Церкви – еще не конец всему, в особенности же – Его любви. Напротив, они могут стать лучшими знаменами, напоминающими нам о Его любви и верности, заставляющими нас вновь обратиться к Нему, вновь прильнуть к Нему, когда все, на что мы полагались, низвергнуто.

Так происходит и в жизни каждого. То, что за удобной обыденностью нашего повседневного существования мы не видим Бога и не думаем о Нем, – печальное доказательство нашей человеческой слабости. И только во времена потрясений мы вспоминаем о Нем и обращаемся к Нему, часто как недовольные и недоумевающие дети. Лишь в моменты утраты, семейного горя и безысходности люди наконец взывают к Нему, вопрошая «почему», когда у них уже нет иного выхода, кроме как вновь обратиться к Нему, прося помощи, поддержки и утешения. Непостижимым образом Бог в Своем Промысле использует наши несчастья для того, чтобы напоминать нашей греховной человеческой природе о Своем присутствии и любви, о том, что Он верен нам и заботится о нас. Это не мстительность: Он не обрушивает на нас несчастья, чтобы наказать нас за то, что мы так долго забывали о Нем. Это наша собственная слабость. Он всегда с нами и всегда верен нам; это мы не умеем видеть Его и искать Его во времена беспечности и покоя, забывая о том, что Он с нами, что Он пасет и охраняет нас и что именно Он дает нам те самые вещи, на которые мы постепенно начинаем уповать и в которых ищем опоры. Один день сменяется другим, нам удобен привычный ход вещей, и мы забываем об этом.

Так было и в Альбертыне, когда война разодрала на куски ткань нашей – в том числе и моей – некогда мирной жизни, и я на каком-то очень простом уровне начал понимать эту истину во всей ее

ужасающей простоте: «Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что одеться? потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его». Мы выживем, хотя мир вокруг нас изменится полностью. Мы будем продолжать свой путь – сегодня, завтра и послезавтра, – собирая обломки и день за днем приближаясь к нашей вечной цели, к нашему спасению. Наступит завтрашний день, и нам придется в нем жить – и Бог тоже будет там с нами. Церковь выживет – хоть и не будет в точности такой, какой мы знали ее во время миссии, – потому что выживет вера в народе Божиим, как выживала всегда во времена гонений. И среди всех этих кажущихся бедствий и потрясений по-настоящему нас должно заботить только одно: оставаться верными Богу и во всем полагаться на Него, будучи уверенными в Его верности и любви, зная, что этот мир и этот новый строй, равно как и прежний, не есть наш вечный град, и всегда стремясь познавать Его волю и исполнять ее во всякий день нашей жизни.

Глава вторая

Решение ехать в Россию

Однажды вечером в сумятице, царившей теперь в Альбертыне, как гром среди ясного неба, откуда ни возьмись появился отец Макар. Макар, озорной грузин с длинными волнистыми волосами, горбатым носом и горящими черными глазами, когда-то, до войны, учился вместе со мной в Русской коллегии в Риме и был моим верным товарищем. Теперь наш настоятель послал его во Львов, чтобы сказать, что в сложившихся обстоятельствах епископ решил временно закрыть миссию восточного обряда в Альбертыне. Наша встреча в этом потрясенном войной городке была теплой. Отец Макар, обхватив руками мою шею, обнял меня что есть мочи и трижды, по-европейски, поцеловал меня. Я ответил ему столь же тепло и сердечно.

Но Макар приехал не только для того, чтобы известить о закрытии нашей миссии. Он вызвался передать нам эту весть, потому что хотел выяснить, не хочу ли я поехать в Россию. Он рассказал мне, что он и отец Виктор Нестров, еще один мой товарищ по Руссикуму, обсуждали с настоятелями возможность сопровождать рабочие бригады, направляющиеся в Советский Союз, служа им в их нуждах. План был довольно прост. Советские нанимали большое количество людей на оккупированных территориях для работы на русских заводах на Урале. Они также арестовывали различных подозреваемых и отправляли их в уральские лагеря принудительных работ. Макар и Нестров хотели попросту пересечь русскую границу вместе с этими рабочими. Но они знали, что с ними захочу поехать и я. Наши римские товарищи по учебе дали нам кличку «три мушкетера». Еще в то время они подшучивали над нами за то, что мы постоянно говорили о своём желании поехать в Россию, – и

именно эту мысль принес мне отец Макарь вместе с известием о том, что епископ закрывает миссию восточного обряда в Альбертыне.

Когда Макарь заговорил о поездке в Россию, у меня перехватило дух. Я был так взволнован, так переполнен глубокой внутренней радостью, что мне пришлось сдерживать свои чувства, чтобы не выглядеть смешным. Если я не сдержусь, подумал я, то поведу себя глупо. Я был так счастлив, что едва мог говорить. И все-таки, даже в этот миг восторга и радости, я знал, что отвечу. Я не испытывал ни сомнений, ни страхов, ни нерешительности. Я знал, что мне надо делать теперь, чего я желал всю жизнь и зачем Промысел Божий привел меня в Альбертын.

И не только в Альбертын. Казалось, вся моя жизнь в замысле Божиим вела именно к этой минуте. Я хорошо помнил тот далекий день моего второго года в новициате св. Андрея в штате Нью-Йорк, когда наш наставник новициев прочел нам письмо Павла XI, в котором Папа призывал добровольцев к участию в новой русской миссии, только что учрежденной в Риме. Он еще не дочитал, когда что-то во мне всколыхнулось. Я не мог дождаться конца собрания, чтобы подойти к наставнику новициев и вызваться участвовать в этом новом апостольском служении в России. Я помню, как сказал ему: «Отец! Когда вы сейчас читали письмо Папы, мне показалось, будто сам Бог призывает меня. Я понял, что должен принять участие в этой миссии. Я знал это с самого начала, и, пока Вы читали, это ощущение росло, пока я наконец не почувствовал полной уверенности в том, что Бог призывает меня, что Россия – мой удел в замысле Божиим. Я знаю – я твердо верю! – что Бог хочет, чтобы я был там, и я там буду».

Разумеется, наставник новициев скептически отнесся к подобному энтузиазму со стороны юного послушника. И все же чувство, что я призван в Россию, никогда не покидало меня. Я никогда не считал его иллюзией, и оно сказывалось на каждой минуте моей жизни. Это было нечто неуловимое. Иногда я сознательно помнил об этом, иногда это бессознательно влияло на мои поступки. Но это было

нечто очень реальное. Для меня это было тем же, чем, должно быть, был для патриарха Авраама призыв Бога оставить своих близких в Уре Халдейском и отправиться в землю, которую укажет ему Господь. Благодаря этому я смог покинуть семью и друзей, оставить в Соединенных Штатах своих товарищей-иезуитов и отправиться в Рим учиться в Руссикуме. В последующие годы мне было довольно тоскливо и одиноко. Когда я учился в Риме, умер мой отец, и я не смог приехать на его похороны. Когда наконец пришло время рукоположения, никто из моих родных не имел средств, чтобы приехать ко мне в Рим. И все же все за эти годы я ни разу не поколебался в своей уверенности, что Бог призвал меня к служению в России; я ни на минуту не усомнился, что однажды буду там служить.

Поэтому, когда вскоре после рукоположения мне сказали, что в данный момент направлять миссионеров в Россию не представляется возможным, я испытал одно из величайших разочарований своей жизни. Вместо России меня направили в миссию восточного обряда в Альбертыне. Я был горько разочарован: все, ради чего я стольким пожертвовал, ради чего учился, о чем мечтал, к чему готовился, оказалось невозможным. Но даже тогда, в момент величайшего разочарования, я ни на миг не усомнился, что воля Божия в том, чтобы однажды я был в России. И вот Макар спрашивает меня, готов ли я вместе с ним и с отцом Нестровым перейти Российскую границу! Когда я успокоился настолько, что мог позволить себе говорить, я почти вскричал: «Еще бы! Мы отправимся вместе. Весной мы будем в России!»

Я ликовал, и в таком настроении для меня не могло быть лучшего товарища, чем беспечный грузин Макар. Мы говорили и говорили. Замыслы, о которых он говорил, были и моими замыслами. Мы говорили о том, каким удивительным, таинственным образом действует Промысел Божий. Русские войска захватили Польшу и миссию в Альбертыне, то есть в некотором смысле я уже находился в России. Русские пришли ко мне, так что же может помешать мне

отправиться к ним, пусть даже я должен для этого пересечь границу, закрытую для священников? И разве решение епископа закрыть миссию восточного обряда в Альбертыне не освобождает меня от обязанности оставаться здесь дольше? Беженцам в Россию требовались священники; пересечь с ними границу казалось делом несложным; здесь же нашему служению мешали красные – перст Божий присутствовал во всем этом настолько явно, что Божия воля казалась очевидной.

Несмотря на возбуждение, я чувствовал, что настал миг величайшей важности. Это был поворотный момент, начало нового пути, которое изменит все мое будущее. И в то же время случилось именно то, чего я всегда желал, на что надеялся, о чем мечтал с того самого дня в новициате св. Андрея. Никогда еще я не был так уверен, что это и есть воля Божия. И счастливо обсуждая с Макаром планы на будущее, я вновь почувствовал в глубине ту великую радость, тот глубокий внутренний покой, ту твердую уверенность, какие ощутил в тот далекий день много лет назад, впервые услышав призыв к апостольству в России.

Однако все оказалось не так-то просто. На следующее утро меня буквально затопили сомнения. Не позволил ли я своей давней мечте увлечь меня, возобладав над здравым смыслом? Могу ли я быть столь уверенным в воле Божией? Не потому ли я вижу в этой ситуации «знамение» Божие, что хочу его видеть? А может быть, я просто иду на поводу у собственных желаний, называя их волей Божией? То, что я тогда переживал, знакомо каждому, кому когда-либо приходилось бороться с собственной совестью, не зная, как поступить. Любому юноше, любой девушке, ощутившим призвание и усомнившимся в подлинности услышанного призыва, знакома эта борьба с сомнениями; им известно, как сильны могут быть доводы против.

Голова кипит от аргументов и рассуждений. Ее переполняют мысли о нынешних и будущих обязательствах перед родными и друзьями, о благе, которое можно принести, оставшись дома, и

других возможностях послужить Богу и человеку, сомнения относительно мотивов, склоняющих разум то в одну, то в другую сторону, неуверенность в своей способности следовать такому призванию (и даже в призвании как таковом), туманный страх перед будущим и очень реальный страх совершить ошибку здесь и сейчас: знаешь, что нужно что-то решать, и в то же время понимаешь, что решить – значит взять на себя обязательство, от которого уже нет пути назад, обязательство, которое изменит весь ход твоей жизни. Человек, которому предложили новую, быть может, лучшую работу, женщина, которой сделали предложение, родители, планирующие переезд, подросток, размышляющий о своем будущем в меняющемся мире – все они знают тот беспокойный поток страхов и сомнений, ту борьбу вопросов и ответов, которые могут встревожить ум и парализовать волю в подобной ситуации.

Так было тогда и со мной. Но больше всего мой пыл сдерживал следующий вопрос: не бегу ли я от своих обязательств перед прихожанами Альбертына? Не тот ли я наемник, который бежит, оставляя овец без присмотра в минуту опасности? Да, епископ закрывал миссию восточного обряда. Но оставался еще латинский приход. Люди, особенно старики, храбро встречая гонения, продолжали ходить на Мессу. Разве мог я оказаться менее мужественным? Не первая ли обязанность священника оставаться со своей паствой в любой ситуации, особенно в опасности? До конца ли я уверен, что Бог хочет, чтобы я поехал в Россию? Разве не устроил Он так, что я и без того уже нахожусь, можно сказать, в России? Можно ли и вправду поверить, что Бог хочет, чтобы я променял эту совершенно реальную ситуацию, эти совершенно реальные нужды Его народа в Альбертыне на погоню за чем-то призрачным в незнакомой стране, среди людей, которые никогда не звали меня и не искали моей помощи? Как могу я быть настолько уверен в Божией воле?

Эти вопросы и доводы терзали меня. Они были обоснованными как с логической, так и с духовной точки зрения. Я знал, что это не

просто рационалистические объяснения. Разум прибегает к рационалистическим объяснениям для того, чтобы оправдать решение, принятое без достаточных на то оснований, или поступок, уже заранее избранный волей. Вот почему подобные рационалистические объяснения так часто подозрительны, вот почему всегда нужно так тщательно анализировать свои мотивы. Но мои доводы были как раз аргументами *против* того, что я желал совершить, мои вопросы были основаны на фактах, на действительности, и для моих сомнений имелись веские основания. Всякий, кому приходилось выбирать между призванием и семьей, между неким замыслом, некой мечтой о будущем и реальными требованиями настоящего, поймет сколь серьезная дилемма встала передо мной тогда. Должно быть, вся сила подобных доводов была известна Аврааму, которого Бог призывал оставить все, что он знал и любил, и отправиться в незнакомую страну, уповав лишь на смутное обетование. И потом, когда Бог призвал его пожертвовать своим сыном Исааком – самым воплощением этого обетования, – как мог Авраам быть уверенным в воле Божией? Как вообще хоть кто-нибудь может быть в ней уверен?

Я хорошо помню этот кризис. Прежде я никогда не сомневался: воля Божия в том, чтобы я поехал в Россию. С того дня, как я впервые услышал этот призыв, убежденность эта составляла стержень моей жизни. Эта вера, эта абсолютная уверенность в Промысле Божиим поддерживала меня в любых трудностях, помогала справиться с любыми разочарованиями. Я мечтал об этом, надеялся и уповал на это, отдавался этому, находил в этом утешение – а теперь встал перед духовной дилеммой. Действительно ли я так уверен, что Бог этого хочет? Уверен ли я хотя бы в том, что эта возможность попасть в Россию – именно то, чего Бог хочет от меня сейчас?

Я стал молиться. Но мой разум пребывал в таком смятении, мой рассудок был так занят взвешиванием аргументов за и против, что я не мог расслышать глас Божий. Я обсуждал это с отцом Макаром, а

также с отцом Грыбовским, единственным священником из миссии, который остался бы в Альбертыне, если бы я уехал. Я говорил с прихожанами, умолявшими меня остаться. В конце концов я решил, что не могу покинуть Альбертын. Я не мог оставить церковь, которая во мне нуждалась. Я не мог оставить приход, чьи нужды знал так близко, не мог бежать от опасностей и гонений, следуя за смутными, во многом идеалистическими представлениями о будущем служении незнакомым людям в незнакомой стране. Бог, через моих настоятелей, направил меня в Альбертын: по крайней мере в этом Его воля была несомненна. А потому я остаюсь в Альбертыне.

И все же едва я принял это решение – искреннее и основанное на твердом убеждении, – как вновь потерял покой. Я не чувствовал ни покоя, ни радости, ни облегчения от того, что разрешил наконец свою проблему. Молиться стало трудно, почти невозможно. Я чувствовал, что вера моя ослабла, что к этому решению я пришел, внимая голосу разума, а не Бога. Меня смущало чувство, что я разрушил нечто, на чем до сих пор строилась вся моя жизнь. Ибо это решение представляло собой разрыв с тем, как я всегда переживал и истолковывал действие Промысла Божия в своей жизни, с тем, как я всегда старался во всем искать волю Божию и следовать ей. Но главным была утрата того ощущения глубокого внутреннего покоя, того чувства радости и воодушевления, того сильного духа веры в участия Бога в моей жизни, которые до тех пор были неотъемлемой частью моей духовностью.

Итак, я пришел к тому, что должен еще раз пересмотреть свое решение остаться в Альбертыне. Я молился о том, чтобы, всецело открывшись Промыслу Божию, уповать только на Бога, о готовности подобно Аврааму последовать за Его призывом, куда бы он меня ни вел, отбросив все мысли о себе, все сомнения, все доводы моего собственного разума. Я хотел полностью раскрыться навстречу Божией воле, услышать глас Божий и отбросить свое «я». Так я молился о водительстве. И меня тут же вновь затопило ощущение покоя, чувство радости, доверие к той простой и непосредственной

вере, которая выражается в уповании на Него одного. Теперь я знал, что я должен делать. Теперь я сам испытал то, что и прежде слышал от своих духовных наставников или читал в духовных книгах, но никогда не понимал до конца: что волю Божию можно распознать по плодам духа, которые она приносит, что душевный покой и радость сердца могут быть такими знамениями, если исходят из совершенной решимости следовать воле Божией и открытости Ему одному и не основаны на наших собственных желаниях. Что подлинность призвания – совершенно нового или к очередному повороту на уже избранном пути – можно проверить, прислушавшись к сопровождающим его движениям души. Что движения благодати Божией всегда следует воспринимать и понимать в силу веры, ибо в конечном счете любое таинственное проявление Его благодати распознается в свете веры, а не посредством разума или интеллекта.

Существуют движения души – столь глубокие, что их нельзя описать словами, и все же более могущественные, чем любые доводы разума, – которые способны показать человеку – столь убедительно, что у него не останется вопросов и сомнений, – что *"digitus Dei est hic* [это перст Божий]. Имя этого явления – благодать. Своей благодатью Бог вдохновляет людей, возносит ввысь их сердца, просвещает их разум, движет их волей. Для восприятия этого явления необходима вера, и все же оно совершенно реально. Никакая логика, никакие разумные объяснения богословов не смогут убедить тех, кто лишен дара веровать в это явление, и все же оно остается реальным. И, как бы мало ни стоило мое свидетельство, я могу свидетельствовать об этом. Только в решении отправиться в Россию я нашел радость и внутренний покой, которые являются знамениями подлинного Божественного вмешательства в человеческую душу. А потому выбор был сделан: я еду в Россию.

Глава третья

Россия

«Погляди-ка, Нестров, – сказал я, – посмотри на этот богатый чернозем. Ему же нет конца». И тут я вдруг закричал: «Ты видел указатель, который мы только что проехали?! Это же русская граница!» Я соскочил с деревянных нар товарного вагона и закричал всем, кто был внутри: «Мы в России!» Все в вагоне тут же вскочили, столпились у выхода и сквозь доски стены стали рассматривать указатель, который становился все меньше и меньше, по мере того как поезд медленно уходил вдаль. Несмотря на тесноту деревянного вагона все воспряли духом. Лица засветились. Пассажиры стали похлопывать друг друга по спине. Кто-то запел. Я же замолчал, впервые, в крайнем волнении, разглядывая богатую русскую почву. Через некоторое время я повернулся к отцу Нестрову и тихо сказал: «Ну, что я тебе говорил? Россия весной!» А потом добавил, словно только что вспомнил: «Сегодня же девятнадцатое марта, день св. Иосифа-работника».

Нестров и я посмотрели друг на друга в долгом молчании. Невозможно было предсказать, что готовит нам будущее, но, как бы то ни было, случилось наконец то, о чем мы так много лет мечтали, что так часто обсуждали в дни студенчества в Риме, что так тщательно планировали в минувшие месяцы во Львове. И пусть в этом товарном вагоне никто больше не знал о том, что мы священники. Мы сами это знали. Для них я был Владимир Липинский, поляк, чья семья погибла во время немецкого воздушного обстрела. Пересекая российскую границу, я испытал странное чувство радостного волнения и вместе с тем одиночества, чувство начала и конца. Даже почва казалась другой. Широкие просторы Украины с, казалось, безграничными полосами

возделанной земли, мягко вздымались иногда покатыми холмами и пастбищами.

Воодушевление моих спутников было заразительно. Оно было вызвано множеством причин. Во-первых, это означало, что близится конец нашего путешествия в тесноте товарного вагона № 89725. В начале пути нас было двадцать пять человек, но по дороге на остановках в вагон набивалось все больше рабочих. Вдоль стен вагона стояло два ряда коек из нетесаных досок, на полу лежала солома, а под крышей был вентилятор. Вся прочая обстановка состояла из старого дырявого нефтяного бака, служившего нам печью, и помойного ведра, заменявшего туалет. Мы были наняты Леспромхозом, большим советским лесозаготовительным объединением, принимавшим людей для работ в районе Урала. Это предприятие искало дешевую рабочую силу, прежде всего, из числа беженцев с недавно захваченных Советской Армией земель. Вопросы задавали не много. Большинство пассажиров нашего вагона были евреями, бежавшими от нацистского наступления на Польшу. В поезде ехали целыми семьями: здесь были бабушки, дедушки, отцы, матери и дети. Покинув родные края, где из поколения в поколение жили их предки, они – как все беженцы – несли на себе все свое имущество в новую жизнь в чужой стране. В нашем тряском поезде, который все время то останавливался, то снова трогался в путь, длившийся более двух недель, они часами говорили о своих покинутых домах и новых надеждах. Мы вместе обсуждали те возможности, которые ждали нас на Урале.

Поэтому для каждого из нас пересечение российской границы имело особое значение. Для нас с отцом Нестровым это было осуществление мечты. Для Франка, варшавского еврея, с которым мы с отцом Нестровым подружились во время путешествия, это тоже было осуществление мечты. Он был коммунистом, бежавшим из Варшавы незадолго до того, как город заняли немцы. Тогда он принял решение перевезти свою семью – жену, десятилетнего сына и племянника – в тот рай, о котором так много читал в

коммунистической литературе. Несомненно, у всякого из нас были свои собственные причины для радости, которая всех нас охватила на русской границе. Что до меня, я никогда не забуду этого чувства. То было естественное возбуждение от осознания достигнутой цели, сопровождавшееся глубоким внутренним покоем и радостью. Воодушевление и надежда смешались с внезапным осознанием того, что теперь я полностью отрезан от всех и от всего, в чем мог найти поддержку: от своих иезуитских настоятелей и собратьев, от семьи, от видимой Церкви и от американских властей, которые защитили бы меня в случае серьезных неприятностей. С минуту я с грустью и сожалением размышлял о том, что, возможно, никогда больше не вернусь в Европу, в Америку, в Шенандоа. Но столь же ясно я осознал и то, что не отрезан от Бога, что Он со мной и что теперь я действительно – по-новому и по-настоящему – завишу только от Него. Я воспрял духом, сердце забилося немного быстрее от счастья, внушённого этим осознанием, и я включился во всеобщее веселье, царившее в вагоне, имея на то свои собственные, особенные причины.

Наше прибытие в уральские лесозаготовительные города Чусовой и Теплая Гора вскоре положило конец эйфории. Когда мы приехали, шел дождь. Мы были изнурены; запасы пищи, которые мы взяли в путь, давно иссякли. Изголодавшиеся, мы должны были стоять под дождем, пока представитель Леспромхоза производил проверку, а затем, через грязь, пробираться к лагерю, находившемуся в полутора километрах от города. Бараки в лагере были новые и необструганные. Большие участки стен, где дерево покорибилось, были заполнены грязью и чем-то вроде штукатурки. Работа, которую нам поручили, была тяжелой. В смешанных бригадах, где были и мужчины и женщины, мы таскали бревна с реки и укладывали их рядами примерно по два метра высотой и по тридцать метров длиной. Зарплата была очень низкой и зависела от того, сколько кубических метров древесины уложено за день. Новички, разумеется, не слишком хорошо справлялись с работой, а потому

зарабатывали очень мало. Так, мы с Нестровым складывались, чтобы купить еду, но иногда нам хватало только на булку черного хлеба. Бывали вечера, когда мы не могли себе позволить даже этого, потому что нужно было еще платить за проживание в бараках, и эта сумма удерживалась из нашей зарплаты, прежде чем мы успевали ее увидеть. Наш приятель Франк со своей мечтой о рабочем рае был просто потрясен всем этим.

Мы с отцом Нестровым тоже были разочарованы. Не физическим трудом, каким бы утомительным он ни был, не постоянными неудобствами, не жалким жильем, не мучительным голодом и невозможностью уединиться. Все это было трудно, но мы бы выдержали это с радостью, если бы могли делать то, ради чего приехали в Россию. Однако самым жестоким пробуждением стало для нас растущее осознание того, что здесь у нас нет никакой возможности служить. Хотя формально советская Конституция гарантирует свободу вероисповедания, прозелитизм строго запрещен. Конституция гарантирует свободу атеистической пропаганды, но те, кто пытается распространять истины веры или поощрять религию, фактически нарушают закон. Теоретически Нестрову и мне это было, конечно, известно; теперь же мы начали ощущать это как факт повседневной жизни.

Никто не хотел даже говорить о религии, тем более исповедовать ее. Хотя никто в бараках не знал, что мы священники, рабочие очень неохотно шли на обсуждение любых вопросов, связанных с Богом и религией. Они видели в нас коллег и общались с нами в духе непринужденного товарищества. Мы делили с ними работу, скудную пищу, жалкое жилье и повседневные трудности. Прежде всего, беженцы были простыми людьми с трудной судьбой, которую они покорно принимали. Они принимали нас в свое общество, непринужденно беседовали и искали решения своих насущных проблем в тех стереотипных, избитых фразах, которые рождаются из перенесенных сообща лишений и из культурного наследия. Однако о Боге они не хотели ни говорить, ни слышать.

Они боялись. Мы с Нестровым тоже стали осторожны и даже начали бояться. В такой обстановке иначе было невозможно. Мы боялись не только за себя и за успех своего служения, на который мы все еще надеялись, но и за людей, которым хотели служить. Им так досталось в этой жизни, что мы не хотели стать для них причиной новых неприятностей. Мы знали и они знали, что есть стукачи и партийцы, которые непременно донесут о любой религиозной деятельности. Нельзя было даже говорить о Боге с детьми – как бы это ни было соблазнительно, – потому что они в своей невинности могли нас выдать, рассказав о нашей беседе другим.

Задумывая путешествие в Россию, мы рассчитывали начать свое апостольство со служения беженцам, многие из которых были польскими католиками, а затем постепенно расширить круг своего влияния, служа верующим в России. Но оказалось, что мы не можем даже заговорить о религии со своими товарищами по работе, будь то беженцы или коренные россияне, тем более сказать им, что мы священники. И чем яснее это становилось, тем сильнее было наше разочарование. Прежде мы были полны надежд и воодушевления, и тем сильнее было разочарование от невозможности совершать хоть какое-нибудь служение.

Разочарование постепенно уступало место чувству подавленности и крушения иллюзий. Бывало, я жалел себя, а о коллегах думал с возмущением: я столько отдал, стольким пожертвовал, стольким рисковал, чтобы принести им Христа, а они не хотят даже говорить со мной об этом? «Здесь мы никогда ничего не добьемся, – говорил я порой отцу Нестрову, – люди слишком напуганы». Им трудно было решиться даже на то, чтобы подпольно крестить детей или принимать таинства. И все же именно этим людям я должен был служить, людям, полностью лишенным возможности поклоняться Богу. Я хотел страдать вместе с ними и ради них. Если бы только они пожелали принять меня – не как товарища по работе, а как священника!

Бывали времена, когда я чувствовал себя униженным. Рвение коммунистов, думал я, меня позорит. И без сомнения, это рвение приносило свои плоды. Ведь именно плодотворность действий коммунистов заставляла меня как священника чувствовать себя чужим в своем народе. Я пришел служить, но не мог, потому что никто меня не слушал. Как могли мы с Нестровым тягаться с могуществом этой системы? Теперь, когда мы оглядывались назад, мысль о том, что мы сможем когда-либо плодотворно трудиться в этой стране, казалась нам несбыточной мечтой. Нам мнилось, что мы начинаем великое миссионерское предприятие, нас наполняло рвение и воодушевление – и все для того, чтобы разбиться о жестокую действительность. Все было совсем не так, как мы представляли, и мы были совершенно не готовы столкнуться с тем, что увидели. Вот и все наши надежды, мечты, ожидания, убеждения и особенно энтузиазм!

Терзаясь такими вопросами и сомнениями, мы с Нестровым испытывали сильнейшее искушение найти способ покинуть Россию и вернуться в Польшу, где мы, по крайней мере, смогли бы вновь заниматься служением, пусть даже в условиях оккупации это будет нелегко. Там были теперь времена гонений, и люди, несомненно, нуждались в нас; там люди приходили бы к нам, если бы только знали, что это возможно. Там мы могли бы служить Церкви, здесь же мы не могли ничего. Все это предприятие теперь казалось нам ошибкой, дурным замыслом, основанным скорее на мечтах и надеждах, чем на фактах реальной действительности, идеей, родившейся из плохой осведомленности и заблуждений.

Вот с каким искушением столкнулись мы с отцом Нестровым в Теплой Горе. И хотя положение наше, возможно, было необычным, искушение было самым обыкновенным. С таким искушением сталкивается всякий, кто, последовав за призыванием, вдруг открывает, что действительность совсем не похожа на те ожидания, которые родились у него при первом озарении и первом приливе энтузиазма. Такое искушение приходит, например, ко всякому, кто,

вступив в монашескую жизнь с горячим желанием служить Богу и только Богу, обнаруживает что повседневная жизнь в монашестве скучна и прозаична и так же полна моментами человеческого непонимания, будничными занятиями и разными не дающими сосредоточиться помехами, как и та светская жизнь, которую он оставил в миру. С тем же искушением сталкиваются и молодые супружеские пары, когда медовый месяц окончен, и им открывается бесконечное, как им кажется, будущее, в котором они, с трудом сводя концы с концами, будут вдвоем влачить все ту же жизнь все в том же наскучившем месте. Это искушение сказать: «Я не так представлял себе эту жизнь. Я не на это рассчитывал. И не этого хотел. Если бы я знал, как все будет, я никогда не принял бы такого решения и ни за что не дал бы такого обещания. Прости меня, Господи, но я хочу вернуться назад. Ты не можешь требовать, чтобы я хранил обещание, которое дал по неведению; Ты не можешь ждать от меня соблюдения завета, основанного на вере, если я заранее не знал, как все будет на самом деле. Это нечестно, и я здесь не останусь. Я не буду служить».

С таким искушением сталкивается каждый мужчина и каждая женщина, и зачастую – ежедневно. То, что оно возникло и у нас с Нестровым в ужасающей обстановке Теплой Горы, теперь вовсе не кажется мне удивительным. И все же мы почти поддались ему. Мы обсуждали возможные пути возвращения во Львов. Мы рассуждали, что будет только правильно доложить обо всем нашим настоятелям, что необходимо сообщить им о реальном положении вещей на Урале, прежде чем они пошлют в такую миссию кого-то еще. Мы продолжали свою работу на лесозаготовках, непрерывно ища возможность уехать, а пока находили поддержку в молитве.

Одним из наших духовных утешений была Месса. Иногда нам вдвоем удавалось скрыться в лесу и там тайно совершить богослужение. У нас не было специального облачения, алтарем нам служил пень, и нам приходилось непрерывно быть настороже, чтобы нас не заметили. В некотором смысле, эта необходимость

скрываться только подчеркивала наши трудности, почти полную невозможность заниматься тем, ради чего мы приехали сюда в надежде служить этим людям. И все же Месса придавала нам сил. После чтения Евангелия мы произносили небольшие проповеди, сначала отец Нестров, потом я. Удивительно, какое сильное впечатление производила евангельская весть в таких обстоятельствах. Казалось, наш дух жадно впитывал эти слова, наслаждался ими, ощущая в них Божественное могущество. В момент же пресуществления Бог по-новому являл Свое присутствие в Теплой Горе. В ответ на наши молитвы Он приходил туда, где жертва Голгофы никогда еще не свершалась. В этом таинстве мы могли присовокупить к Его жертве все свои приношения, могли попросить Его благословения для всех, ради кого трудились и за кого тайно молились, для всех, кто, быть может, тоже тайно молился, но не мог славить Его открыто. То были мои самые утешительные мысли, мои счастливейшие мгновения за тот период почти полной невозможности служить, который мы пережили в Теплой Горе. Утешение этой жертвы, этого приношения не оставляло меня все время, пока в темноте и тишине леса мы возвращались домой.

И вот однажды нас осенило. Бог даровал нам благодать увидеть решение нашей дилеммы, найти ответ на наше искушение. Нам была дарована возможность просто посмотреть на всю ситуацию с Его точки зрения, а не с нашей, измерить наши дела не человеческой меркой и не нашими собственными желаниями и ожиданиями, но замыслом Божиим. Это была возможность понять, что наша дилемма, наше искушение создано нами же самими и существует только у нас в голове; оно не соответствует и не может соответствовать действительности, которой распоряжается Бог и которая направляется в конечном счете Его волей.

Св. Игнатий прямо и решительно говорит об этом в «Начале и основании»: «Человек сотворен для того, чтобы хвалить Господа Бога своего, почитать Его и служить Ему, и чрез то спасти свою душу. Все же остальное, обретающееся на земле, создано ради человека,

для того, чтобы помочь ему достичь цели, ради которой он сотворен. Отсюда следует, что человек настолько должен пользоваться всем созданным, насколько оно ему помогает в [достижении] его цели, и настолько должен от него отказываться, насколько оно ему в этом мешает. Поэтому необходимо стать бесстрастным ко всем творениям». Игнатий называет это «началом и основанием» «Духовных упражнений», но это также основополагающая истина всего человеческого существования и Божия Промысла. Эти четыре предложения выражают ее с предельной ясностью и простотой. Сколько раз мы с Нестровым слышали эти слова, читали эти положения, молились и размышляли о них! И все же под давлением обстоятельств в Теплой Горе мы о них забыли. Мы принимали их как абстрактные принципы духовной жизни, но они не вошли в нашу повседневную жизнь. По крайней мере, до той поры они никак не сказывались на нашем отношении к жизни в Теплой Горе и к вставшей перед нами дилемме.

Будь иначе, мы давно бы поняли, что единственная цель нашего пребывания в Теплой Горе – как, впрочем, и всей нашей жизни – исполнение воли Божией. Не такой воли Божией, какая нравится нам, не такой, какой мы ее себе представляем, и не такой, какой она должна быть согласно нашей жалкой человеческой премудрости. Но такой воли Божией, которая отвечает представлениям самого Бога и которую Он являет нам каждый день, ставя нас в разные – Им сотворенные – ситуации. Для нас волю Божию воплощали двадцать четыре часа каждого дня: те лица, места и обстоятельства, которые Он даровал нам в эти часы. Бог знал, что именно эти лица, места и обстоятельства были важны для Него и для нас *в тот момент*, и хотел, чтобы мы действовали исходя из них – а не из какого-то абстрактного принципа и не из субъективного желания «творить волю Божию». Все это – двадцать четыре часа каждого дня – и было Его волей, и мы должны были научиться распознавать Его волю в реальности этих ситуаций и поступать соответственно. Мы должны были научиться смотреть на нашу повседневную жизнь, на все, что

ежедневно встречается нам на пути, глазами самого Бога; научиться видеть, как Он оценивает вещи, места и, прежде всего, людей; осознавать, что с этими вещами и с этими людьми Он связывает нас с определенной целью и намерением, и стараться всегда исполнять эту волю – Его волю – каждый час каждого дня в тех ситуациях, которые Он нам дарует. Ибо для какой же иной цели мы были сотворены? По каким иным причинам Он распорядился так, чтобы мы были здесь, сейчас, в это время, среди этих людей? С какой еще целью Он привел нас сюда, если не для того, чтобы во всех этих ситуациях мы видели Его волю и всегда старались делать то, чего желает Он, и так, как хочет Он, так, как сделал бы Он сам, и ради Него, так, чтобы плоды наших трудов и слава достались Ему?

Наша дилемма в Теплой Горе была вызвана разочарованием от невозможности исполнять волю Божию, как *мы* её себе представляли, невозможностью трудиться в соответствии с желанием Бога, как *мы* его себе представляли. Мы разочаровались, вместо того чтобы просто в самой этой ситуации усмотреть Его волю. В такое заблуждение легко может впасть любой – святой и ученый, церковный предводитель и поденщик. В конце концов мы начинаем ожидать от Бога, что Он примет *наше* представление о том, какова должна быть Его воля, и поможет нам исполнить именно *это*, вместо того чтобы научиться видеть и принимать Его волю в тех ситуациях реальной действительности, которые Он преподносит нам каждый день. Простая душа, которая ежедневно совершает Утреннее приношение, предавая Господу «все молитвы, дела, радости и страдания этого дня», и затем поступает соответственно, безусловно принимая все ситуации данного дня как ниспосланные Богом и с любовью на них откликаясь, уже постигла с непосредственной, как у ребенка, верой всю глубокую истину воли Божией. Предсказывать же волю Божию, рассуждать о том, какой она должна быть – это одновременно результат человеческой глупости и тончайшее из всех искушений. Простая и ясная истина заключается в том, что Его воля – это то, чего Он действительно хочет и ниспосылает нам каждый

день в виде обстоятельств, мест, людей и проблем. Вся штука в том, чтобы научиться это видеть – и не только теоретически или время от времени, в некоем внезапном озарении, дарованном нам благодатью Божией, но каждый день. Никому из нас нет нужды задумываться, в чем должна состоять для нас воля Божия. Он ясно являет нам Свою волю каждый день и в каждой ситуации, мы же должны лишь научиться видеть все таким, каким это видит и являет Он.

Искушение же состоит в том, чтобы не замечать в этом воли Божией и смотреть поверх этих вещей – как раз потому, что они так будничны, так незначительны, так скучны и обыкновенны, – и пытаться взамен найти какую-то другую, более благородную «волю Божию» в неких абстракциях, которые лучше соответствуют нашим представлениям о Его воле. Такое искушение было и у нас в Теплой Горе – и бывает у всякого, кто внезапно обнаруживает, что жизнь не такова, как он ожидал. Решение же заключается в том, чтобы понять, что именно эти вещи – и только эти вещи, здесь и сейчас, в эту минуту – и представляют собой истинную волю Божию. Непростая задача состоит в том, чтобы научиться принимать эту истину и действовать исходя из нее каждый день и каждую минуту. Беда в том, что, как и все великие истины, эта истина кажется слишком простой. Она все время здесь, прямо у нас перед носом, а мы все смотрим не туда, ища чего-то более возвышенного. Она отмечена знаком всех божественных истин – простотой, – и в то же время именно ее кажущаяся простота делает нас склонными не замечать ее или пренебрегать ею в нашей повседневной жизни.

Кроме того, как и все божественные истины, она далеко не проста в осуществлении. Сама ее простота делает ее одновременно не только неправдоподобной, но и невыполнимой для человека, потому что наша слабая человеческая натура слишком склонна отвлекаться и рассеиваться. Те самые обстоятельства нашей жизни, постоянные, скучные и обычные, которые ежедневно являют нам истинную волю Божию, в то же время служат иногда и причиной

нашей рассеянности – именно потому, что мы так заняты ими – и заставляют нас терять из виду – пусть на мгновение – эту великую истину. И все же осознать эту истину, какой бы простой она ни казалась, следовать ей, принимая каждое мгновение каждого дня в свете этой истины, стараться, насколько возможно, помнить о ней в каждой ситуации, сделать ее единственным правилом, направляющим каждый наш шаг, единственным нашим стремлением, – это значит познать наконец подлинную радость и душевный покой, исходящий из уверенности в том, что мы всегда и во всем стремимся творить волю Божию – единственное, ради чего мы, в конечном счете, существуем и сотворены. Человек не может желать большего покоя, не может познать большей ясности.

Глава четвертая

Арест и заключение

22 июня 1941 г. Германия начала «молниеносную войну» («блицкриг») с Россией; Советский Союз немедленно объявил войну. В ту же ночь, в три часа утра, сотрудники НКВД явились в наши бараки в Теплой Горе. Нас с отцом Нестровым, а также наших товарищей по комнате Фухса, Валерия и Яноча увели под дулом пистолета как немецких шпионов. В ту ночь на лесозаготовках были арестованы сотни людей. Всю ночь нас продержали в Чусовом, а затем под строгим конвоем перевезли на поезде в пермскую областную тюрьму. Там меня сфотографировали в профиль и анфас – обычная тюремная процедура, – остригли, избавили от вшей и поместили в большую камеру, вероятно, около девяти метров длиной и столько же шириной. Утром, когда я туда попал, в камере было пять человек; к вечеру там толпилось больше сотни. Под угрозой германского вторжения советские арестовывали, казалось, всякого, на кого могло пасть хоть малейшее подозрение. Здесь были учителя, простые рабочие, рядовые госслужащие, юристы, несколько солдат – казалось, практически все, кого только можно было заподозрить в неблагонадежности.

Мы с отцом Нестровым всегда знали, что однажды нас могут арестовать; бывало, мы даже обсуждали возможность нашего ареста. Однако, когда нас и в самом деле арестовали, все произошло так быстро, что казалось нереальным. Я не мог поверить, что это действительно происходит. Я был ошеломлен и сбит с толку. Мой рассудок был просто не в состоянии воспринять происходящее, особенно полную потерю свободы и мгновенное лишение всех прав и любой возможности обратиться за помощью. Невозможно было спорить, доказывать свою невиновность, сказать кому-то, что это ошибка. Органам было дано задание; эти люди только выполняли

свою работу. Они просто гоняли нас, как скот: им нужно было определенное количество голов. Они не хотели слышать никаких возражений, были не в настроении спорить и окончательно и бесцеремонно отметали все вопросы о правах и невинности, попросту не обращая на них внимания.

То, что я испытал тогда, невозможно точно описать. Каждый, кого когда-либо арестовывали по ошибке или хоть раз продержали всю ночь в заключении, поймет, о чем я говорю, но я не могу найти слов, чтобы верно передать то потрясение, как эмоциональное, так и физическое, которое человек испытывает в подобной ситуации. Возможно, чтобы описать это чувство одним словом, лучше всего подходит выражение «беспомощность», и все же каким бледным и слабым кажется это слово в сравнении с реальностью! Чувствуешь себя полностью отрезанным от всего и от всех, кто мог бы хоть чем-то тебе помочь, лишенным всякой возможности что-либо предпринять, чтобы помочь себе самому или связаться с кем-то, от кого можно было бы ждать помощь, полностью пребываешь во власти тех, кто тебя арестовал, и не можешь ни пойти куда-то, ни сделать что-то без их разрешения. Как будто захлопнулась железная дверь, отгородив от тебя мир, который ты знаешь и в котором умеешь действовать, и ты попал в совершенно другую вселенную со своим собственным набором правил, собственной властью и собственными границами. Те, кто отдает приказы, не обязаны никого слушать и, как кажется, никогда и никому ничего не объясняют. Ты же, напротив, не можешь ни сказать, ни сделать ничего такого, что могло бы как-то улучшить твое положение.

«Беспомощность» – самое подходящее слово. Если в Теплой Горе я испытывал чувство крушения надежд от того, что не мог работать с людьми так, как мне хотелось, то было ничто в сравнении с этим всепоглощающим ощущением беспомощности и бессилия. Даже немного оправившись от удара, вызванного неожиданным арестом, я не мог преодолеть потрясения, порожденного полной утратой свободы и чувством, что каждое мое движение, все мои права,

каждая моя потребность контролируется кем-то другим. Должно быть, все тюрьмы вызывают у своих обитателей, особенно у новичков, это чувство полного поражения и беспомощности. Они неизбежно в некоторой степени лишают человека его человеческих качеств, ослабляют ум, приводят к деградации личности. Но советским тюрьмам военного времени, советским тюрьмам, которыми заведовали сталинские Органы госбезопасности, все это было присуще, как никаким другим. Если человек попадал в такую тюрьму, о нем могли больше никогда не услышать. Заключение могли расстрелять – и расстреливали. Контроль со стороны властей был абсолютным; беззащитность заключенных была полной. Страх и террор были излюбленными орудиями Органов. Если их власть над жизнью и смертью заключенных на самом деле и не была полной, то, во всяком случае, несомненно, такой казалась – как заключенным, так и большинству людей в то время. Забота о простом выживании унижала заключенных в подобных условиях до состояния такого послушания и раболепия, которые воистину недостойны человека.

Физические условия тоже были нечеловеческими. Камеры были настолько переполнены, что в них едва можно было пошевелиться. Водопровода не было, туалет заменяли помойные ведра. На окнах были металлические ставни, так что было мало света и не доставало воздуха. Мы были грязными, никакой смены одежды не предполагалось, мы спали на невытом полу, и по нам ползали насекомые. Воздух стоял все время спертый, и от этого тошнотворного зловонья, постоянно ощущавшегося в носу, некуда было скрыться. Нужно было просто научиться как можно меньше обращать на это внимание.

Все это было так унижительно, так оскорбительно, что некоторые люди просто переставали чувствовать себя людьми. А между тем разум терзало чувство несправедливости и беспомощности. Большинство людей в нашей камере были, как и я, политзаключенными; они не имели никакого представления о том,

за что их посадили в тюрьму. Мало кто из них мог всерьез признать себя виновным в каком-либо умышленном проступке против государства. Многие поначалу пытались утешать себя мыслью, что их взяли по ошибке, и, как только промах будет обнаружен, их освободят. Но вскоре они узнавали правду и ожесточались, приходя в ярость от подобной несправедливости. Но что они могли сделать, к кому могли обратиться за помощью? Их права полностью игнорировались, их считали предателями или хуже того, они постоянно находились под угрозой расстрела. О помощи просить было некого; более того, любой протест рассматривался как новое преступление, новое нарушение, новое проявление недоверия к «системе».

Помимо всех этих страданий, которые мы все переносили сообща, было еще одно – окончательное – унижение, которое пришлось испытать только мне. Обсуждая с другими причины нашего ареста, я не скрывал своих мыслей о том, что меня наверняка взяли в том числе и потому, что я священник. И если я думал, что такое признание сможет как-то подчеркнуть мою невиновность или укрепить в моих товарищах по заключению чувство доверия ко мне, или хотя бы дать мне возможность лучше послужить им и утешить их в страданиях, меня ждало жестокое разочарование. Меня стали презирать. Очевидно, многие годы советской пропаганды не прошли даром. Я был поражен, узнав, что многие заключенные считают священников паразитами на теле общества, тунеядцами, безбедно живущими на деньги бедных старушек, или распутниками, предающимися пьянству, бабниками и извращенцами. Более образованные заключенные и мелкие партработники почерпнули искаженное представление о Церкви из коммунистических брошюрок, в которых Церковь изображалась в политическом, социальном и человеческом аспектах со всеми её ошибками, недостатками, злоупотреблениями и проявлениями несправедливости. В лучшем случае священник был для них человеком, не идущим в ногу со временем, которому не место в

социалистическом обществе; в худшем он был жертвой обмана на службе у Церкви, представляющей собой ревностное орудие капитализма.

Я был ошеломлен глубиной предрассудков и отвращения к Церкви, которые просто лились у них через край. Тем более в таких обстоятельствах. Большинство из нас в этой камере были политическими заключенными; почти всех нас несправедливо подозревали или обвиняли в том, чего мы никогда не делали, не давая при этом никакой возможности ответить на обвинения или доказать свою невиновность. Нас объединяло общее несчастье, а также чувство страдания, оскорбленности, униженности и беспомощности. Между политзаключенными в нашей камере существовало некое минимальное чувство товарищества, этакое братства по несчастью. Но не по отношению ко мне, когда им стало известно, что я священник. Меня проклинали, обходили стороной, презирали, смотрели на меня свысока. Я вырос в польской католической семье, где к священнику всегда относились с особым почтением независимо от того, нравился он нам как человек или нет, и теперь подобное отношение к священнику со стороны заключенных вызывало у меня ответное раздражение и недоумение. Я не мог этого понять, и дополнительная несправедливость этого бессмысленного, тупого предрассудка приводила меня в ярость. Все это доводило меня чуть ли не до слез. Все это казалось таким неправильным, таким несправедливым, таким оскорбительным и унижительным. Подобно тому, как все мы чувствовали невозможность защитить себя перед лицом тюремной системы, так и я не мог теперь ни объясниться, ни защитить себя перед своими же сокамерниками. Никто меня не слушал, да и вообще мало кто со мной разговаривал. Говоря словами Исайи, я чувствовал себя «презренным и умаленным пред людьми». В глазах тюремщиков и заключенных я был ничем, ничтожеством. Поэтому, помимо объединявшего нас всех чувства беспомощности и бессилия, я

испытывал еще пустое, тошнотворное ощущение собственной ненужности.

Не к кому было обратиться, не с кем поговорить, не от кого ждать совета, понимания и утешения. Отца Нестрова я не видел со времени ареста. Другие люди, жившие со мной в одном бараке и арестованные вместе с нами, должно быть, находились в других камерах. Поэтому, как и всегда в тяжелую минуту, я обратился с молитвой к Богу. Я искал Его помощи, Его сострадания и утешения. Поскольку я страдал прежде всего за Него и был презираем за то, что был одним из Его священников, Он не мог отказать мне в утешении. Ведь и Он в Своей земной жизни тоже был, как говорит Исайя, «презрен и умален перед людьми». Он тоже искал кого-то, кто утешил бы Его, и не находил. Конечно, Он посочувствует моей участи; конечно, Он утешит и поддержит меня.

Но, как часто случалось и раньше, Его утешение углубило мое знание самого себя и мое понимание Его Промысла и тайны спасения. Когда я обратился к Нему с молитвой из глубин своего унижения, когда, чувствуя себя презренным и ненужным, я прибег к Нему в крайнем унынии, в ответ Он даровал мне благодать увидеть, какая значительная примесь эгоизма закралась в картину. Меня унизили, и мне стало себя жаль. Никто не оценил меня как священника, и я дал волю жалости к себе. Ко мне отнеслись нечестно, несправедливо, с предубеждением. Некому было выслушать мою печальную историю и проникнуться ко мне состраданием, поэтому я жалел себя сам. Вот была истинная цена моего «унижения».

Да, физические условия в этой камере были нечеловеческими. Возможно даже, так было задумано нарочно, чтобы истощить волю узников, разрушить ту единственную духовную силу, которая делает людей людьми, сильными и свободными. Но нечеловеческие условия еще не причина, чтобы я – или любой другой человек – перестал быть человеком. Мы не являемся – и не должны быть –

продуктом окружающей среды. Условия могут заставить нас деградировать, только если мы сами это себе позволим.

Что же до унижения, которое я почувствовал, оттого что мне не оказали должного почтения как служителю Бога, не был ли «раб больше господина»? Господь наш сказал Своим ученикам: «Если Меня гнали, будут гнать и вас». Меня с юности учили уважать священников, потому что они – представители Бога среди людей. Но, став священником, я сам начал ожидать такого же почтения (если не низкопоклонства) от других. Как же мог я в таком случае всерьез думать, что следую за Господом? Ведь если бы я действительно уподобился Христу, разве не стал бы я, напротив, ожидать унижения и отвержения? И с чего бы мне так поражаться, когда всё так и произошло? Не должен ли я, скорее, радоваться, что мне удалось больше уподобиться Ему?

И в скольких еще случаях я позволял этой примеси эгоизма, этой роскоши жалости к себе затуманивать свой взор и мешать мне увидеть происходящее глазами Бога! Ни один человек, каково бы ни было его положение, никогда не теряет ценности, никогда не становится ненужным в глазах Бога. Ни одна ситуация никогда не бывает лишённой смысла и предназначения в Божием Промысле. Человеку весьма свойственно испытание разочаровываться обстоятельствами, чувствовать себя сокрушенным и беспомощным перед лицом системы – будь то тюрьма НКВД или весь советский строй, статус-кво или бюрократия, повседневная суматоха или истеблишмент, давление общества или культурная среда, или весь этот гнетущий и отвратительный мир! Даже в самых невообразимых условиях человек остается человеком со свободной волей, и Бог всегда готов поддержать его благодатью. Более того, Бог ожидает от человека, что он будет *действовать* в этих условиях, в этих обстоятельствах – действовать так, как хочет Бог. Даже в таких ситуациях окружающие нас люди, места и обстоятельства являют нам волю Божию – то, чего Бог хочет от нас сейчас.

Человек может быть неспособен изменить «систему», как я был неспособен изменить условия этой тюрьмы, но это не освобождает его от обязанности действовать. Многие чувствуют себя сокрушенными, разочарованными или даже побежденными, сталкиваясь лицом к лицу со злом или с обстоятельствами, на которые они не в силах повлиять. Нищета, наркомания, алкоголизм, социальная несправедливость, расовое неравенство, ненависть и ожесточенность, война, коррупция, гнетущая бюрократия любой системы – все это может служить источником горьких разочарований и чувства предельной беспомощности. Но Бог и не ждет, что человек сам изменит мир, победит все зло и исцелит все болезни. Однако Он ждет, что человек будет действовать – действовать так, как хочет Господь, в данных обстоятельствах, predetermined Его волей и Его Промыслом. И благодать Божия в изобилии придет к нему на помощь.

Ощущение безнадежности, которое все мы испытываем в подобных обстоятельствах, в действительности проистекает из нашей склонности уделять слишком много внимания собственной персоне. Поступая так, мы слишком легко чувствуем себя сокрушенными ощущением собственной слабости или просто физического бессилия, осознанием кажущейся ничтожности отдельного человека в этом развращенном мире. Мы склонны сосредоточиваться на себе, размышлять о том, что мы можем и чего не можем, – и забывать о Боге, Его воле и Его Промысле. Но Бог никогда не забывает о значении каждого отдельного человека, о его ценности и достоинстве, и о той роли, которую Он попросил сыграть каждого из нас в Его божественном Промысле. Для него все люди во все времена одинаково важны. Мы Ему не безразличны. Но Он также ждет от каждого человека, что тот будет принимать, как из рук Божиих, все ситуации каждого дня, которые Он ему ниспосылает, и действовать в соответствии с волей Божией и при содействии Его благодати.

Но кое-что человек все же может изменить, и прежде всего, самого себя. И он может – и должен – оказывать какое-то влияние на людей, которых Бог ежедневно ему посылает. Как христианин, он должен влиять на них положительно. Он также может повлиять на них отрицательно, но так или иначе в этот день они коснутся его судьбы – ибо так распорядился Бог, – и потому он окажет на них то или иное влияние. Он тоже, пусть незначительно, коснется их судьбы – и будет нести ответственность перед Богом за то добро или зло, которое совершил в минуту этого соприкосновения. Эта простая истина и есть ключ к пониманию тайны Божественного Промысла и, в конечном счете, спасения каждого человека.

Нет, в этой пермской тюрьме я не был ненужным или беспомощным или ничтожным. Я не был страшно унижен, потому что меня отвергли как священника. Эти люди вокруг меня страдали и нуждались в помощи. Им нужно было, чтобы кто-то сочувственно их выслушал, утешил и вселил в них мужество не сдаваться. Им нужен был кто-то, кто не упивался жалостью к себе, а мог по-настоящему разделить их горе. Им нужен был человек, не ищущий утешения, а способный утешать других. Им нужен был такой человек, который не искал бы уважения и восхищения собственной персоной, но мог бы проявить любовь и уважение к ним, даже если сам был с презрением отвергнут. Подобно тому, как Христос подал пример мне, так и я мог теперь подать им пример христианской любви и заботы. Если же ничто другое не удастся, если они будут и дальше упорно избегать меня, я смогу, по крайней мере, молиться за них и жертвовать за них нашему всеобщему Отцу все страдания и боль, причиняемые мне тем, что они отвергают меня как священника. Иисус молился за Своих гонителей: «Отче, прости им». И если в тот момент в пермской тюрьме ничего другого я делать не мог, то мог, по крайней мере, молиться за отвергающих меня.

Бог ни от кого не требует невозможного. И в самом деле, Он требовал от меня не больше того, чего просит от каждого человека во всякий день его жизни. Он просил меня только о том, чтобы я

научился видеть, что эти страждущие люди вокруг меня, эти условия пермской тюрьмы ниспосланы мне из Его рук и предопределены Его Промыслом. Он просил меня, чтобы я что-нибудь *сделал*, словно второй Христос; просил меня забыть о себе и о жалости к себе и действовать в этих обстоятельствах, подражая примеру самого Христа. Он просил меня забыть о своем «бессилии» перед лицом «системы», но присмотреться к насущным потребностям окружающих меня людей в этот день и сделать все, что только я могу, молитвой и собственным примером. Вот и *все*, чего Он просил и ждал от меня. Вот и все, что я должен был сделать, но это было много, и это нельзя было сделать, сидя на месте и жалея себя. И я не был бессилен это совершить: это было в моих силах, и я мог рассчитывать на то, что Он поддержит меня Своей благодатью. И далеко не последней из Его милостей был дарованный мне свет, позволивший увидеть и осознать эту истину, увидеть, что и этот день, как и все дни моей жизни, ниспослан мне Его рукой и имеет свое предназначение в Его Промысле. Я должен был научиться верить этому, каковы бы ни были обстоятельства, и поступать соответственно – с полным упованием и доверием к Его воле, мудрости и благодати.

Глава пятая

Лубянка

Поскольку я считался шпионом Ватикана (сам я никак не мог научиться всерьез воспринимать это обвинение, однако сотрудники НКВД, казалось, относились к нему вполне серьезно), из пермской областной тюрьмы меня под конвоем перевезли в Москву и перевели в тюрьму на Лубянке. В России в то время слово «Лубянка» у всех вызывало ужас. О тюрьме на Лубянке говорили боязливым шепотом как о месте, где НКВД делает свою лучшую (или худшую) работу. Здесь человека ломали телесно и духовно. Во дни сталинского террора, еще до войны, сюда забирали работников партийной верхушки, а затем они вновь появлялись на знаменитых «открытых процессах»^[3] в виде пустых оболочек, оставшихся от их прежней личности: свой дух они потеряли где-то в утробе ужасной Лубянки. Другие просто исчезали в ее воротах, и больше их никогда не видели. О терроре, пытках и массовых казнях на Лубянке рассказывали как об обычном деле. Это была не столько самая строгая тюрьма НКВД, сколько штаб-квартира, где вершились самые страшные его злодеяния. К счастью, я мало знал об этом, когда попал туда после долгого путешествия на поезде из Перми, в одиночестве, под конвоем.

Некогда Лубянка была гостиницей. Ее комнаты и теперь еще напоминали скорее гостиничные номера, чем тюремные камеры. Они были небольшими, но опрятными, очень чистыми, с блестящим деревянным полом, белеными стенами и потолком, и освещались висящей в посреди потолка электрической лампочкой без абажура. В комнате было обычное окно, но оно было полностью зарешечено и закрыто огромным листом жести. Лишь в верхней части окна, где жесь была отогнута от оконной рамы, чтобы пропускать свет и воздух, виднелся маленький кусочек неба. Дверь была обычной

гостиничной дверью, но покрытой железным листом. Снаружи она запиралась на специальный засов, и в ней было круглое смотровое отверстие, в которое смотрели надзиратели, закрытое снаружи щитком на шарнирах, чтобы заключенный не мог выглядывать. В углу стояла железная кровать с чистой постелью, одеялом и подушкой. Это была единственная мебель, если не считать параша (помойного ведра с крышкой) в углу возле двери. Ни стола, ни стула, ни вообще какого-либо сиденья тут не было. На кровати разрешалось лежать только в часы, отведенные на сон. Таким образом, заключенные проводили весь день стоя, опираясь на стенку или беспокойно и бесконечно слоняясь туда-сюда, взад-вперед по маленькой, два на три метра, комнатке.

Каждый день, если позволяла погода, нам разрешалось делать двадцатиминутную зарядку в тюремном дворе, и дважды в день мы могли пройти по коридорам до туалета, где нам давалось две минуты на то, чтобы опорожнить парашу и торопливо умыться из-под крана. Помимо этого, вся наша вселенная на Лубянке состояла из этой маленькой беленой комнаты с ее кроватью, зарешеченным и покрытым жестью окном и накрепко закрытой дверью с этим вечно подсматривающим глазком. Каждому, кому когда-либо доводилось некоторое время просидеть взаперти в гостиничном номере или по какой-то причине, например, по болезни, долго не выходить из комнаты, больничной палаты или общежития, знакомы те чувства, которые способна вызвать такая длительная изоляция в закрытом пространстве. Но на Лубянке этому заточению не было конца – во всяком случае, заключенный не мог ни приблизить, ни предвидеть этот конец. Дни, казалось, тянулись бесконечно, час за часом, без всяких изменений – разве что дежурный мог начать разносить еду либо с одного конца коридора, либо с другого, тем самым продлив или сократив на час или более ожидание вечно голодных заключенных. В такой изоляции час может показаться вечностью, а затем время и вовсе теряет смысл. Неделя представляет собой просто семь одинаковых суток по двадцать четыре часа, месяц –

просто математическое обозначение четырех таких недель, тридцати одинаковых дней.

Мир человека в одиночном заключении – это отдельная вселенная. На Лубянке этот мир был не только очень тесным, но и крайне строго регламентированным. Существовали четкие правила и предписания относительно поведения в камерах, хождения по коридорам, тех нескольких минут, которые мы каждый день проводили в уборной, времени, отведенного на зарядку во дворе. Нарушения этих правил карались дальнейшими ограничениями в том немногом, что еще оставалось у заключенного, например, сокращением времени, отведенного на упражнения, уменьшением количества еды. В то время как дни выстраивались в нескончаемую череду, подобные правила как-то упорядочивали жизнь, но они также служили дополнительным источником мучений, без конца подчеркивая ощущение нашей ограниченности и отчаянной нехватки свободы.

А еще была тишина. То ли для того, чтобы усугубить царившее на Лубянке, словно в морге, мертвенное беззвучие, то ли просто для чистоты и удобства надзиратели носили специальную тюремную обувь, поэтому было не слышно, как они ходят по коридору, пока они не подходили к двери совсем близко. Говорить было не с кем; в коридорах раздавалось очень мало звуков, за исключением времени раздачи пищи. В результате заключенные становились необычайно чувствительны к малейшему шуму. Невозможно было почти все время не стараться изо всех сил услышать хотя бы что-нибудь, что нарушило бы эту полную, всеобъемлющую тишину, которая, казалось, наступала на тебя со всех сторон, непрерывно тебе угрожая. От внезапного звука откидываемой надсмотрщицей заслонки смотрового глазка или скрежета отодвигаемого засова заключенные подскакивали. Эти звуки приводили их почти в трепет, и все-таки царящая здесь могильная тишина тоже по-своему непрерывно ужасала.

Я провел на Лубянке пять лет, в основном один, в этой тишине. Иногда меня переводили из камеры в камеру; иногда на несколько дней или недель у меня появлялся сокамерник. Но даже это было тщательно спланировано НКВД. Соседей по камере использовали, с их ведома или нет, чтобы проверить, не скажет ли им заключенный что-нибудь такое, о чем умолчал на допросе. Это была ловушка, и все же психологическая потребность непрерывно, час за часом, говорить и говорить с товарищем по несчастью обо всем и о чем угодно, вызванная нескончаемой тишиной и одиночеством, была непреодолима. Кроме того, нечасто и непредсказуемо, заключенных вызывали на допрос. Месяцами заключенного могли допрашивать ежедневно, а потом в течение нескольких месяцев снова не допрашивать, в то время как дни, часы минуты тишины и одиночества все тянулись и тянулись без конца и края. Индивидуальные встречи со следователем могли продолжаться несколько часов, а могли длиться и двадцать четыре часа, сорок восемь часов или дольше без перерыва. В таких случаях допрос вели группы сменяющих друг друга следователей, а заключенный не получал ни отдыха, ни сна, ни какой бы то ни было пищи. И все же – как ни тяжелы были такие допросы, как ни страшен был путь по коридору и вверх по лестнице к кабинету следователя – в ужасающей тишине Лубянки, в нескончаемом однообразии одиночного заключения бывали времена, когда человек почти предвкушал это страшное испытание из простой потребности увидеть чье-то лицо, с кем-то поговорить.

Невыносимые условия, теснота и зловонный воздух переполненных камер пермской тюрьмы представлялись в свое время ужасными, но теперь, когда я оглядывался назад, они казались во всех отношениях лучше этого чистого, с белеными стенами, ограниченного мирка лубянской камеры-одиночки. В тех, переполненных, камерах, по крайней мере, всегда был кто-то, с кем можно было поговорить, поделиться своим несчастьем, кто мог выказать сочувствие, или дать совет, или посоветовать не сдаваться,

или рассказать, как можно выжить. В Перми, возвратившись с допроса, можно было кому-то о нем рассказать, можно было пересказать его, можно было вместе выискивать плохие ответы или глупые ответы или вместе пытаться понять, к чему клонил следователь, что стояло за определенной серией вопросов и какой ответ мог заставить его отцепиться от тебя и удовлетворить кого-то «наверху». На Лубянке же не было никакого человеческого общества, способного тебя поддержать. Здесь, вернувшись с допроса, человек оставался один. Можно было только терзаться, вновь и вновь прокручивая в уме допрос, не зная, верно ли ты поступил и как можно было поступить иначе, вновь и вновь мучительно размышляя над каждым вопросом и каждым ответом. Здесь невозможно было найти облегчение, обсудив это с кем-нибудь другим, попросив совета (каким бы бессмысленным он ни оказался), поделившись опытом и посочувствовав друг другу. Одним словом, одиночное заключение, должно быть, очень похоже на то, как некоторые богословы представляют себе главную пытку ада: душа, признавшая наконец все свои ошибки и навечно приговоренная к отлучению от рая, непрестанно терзает себя упреками и разрывается на части, потому что она все равно видит и сознает все, что утратила навеки, и жаждет этого, но знает, что осуждена навсегда лишиться всего за свой собственный выбор, свои собственные пороки, свои собственные ошибки.

Человеческий разум неугомонен, его нельзя заточить. Пока человек бодрствует, ум его не останавливается ни на минуту, все время о чем-то думает, что-то вспоминает, о чем-то мечтает или испытывает в настоящем страх и тревогу за какое-нибудь событие, предстоящее в будущем. Это неугомонное движение можно контролировать, можно направлять его в определенное русло, но его нельзя остановить. И когда ты отрезан от всех внешних источников, когда ты остаешься один в тишине одиночной камеры, наедине с этим бурлящим морем мыслей, воспоминаний, страхов и вопросов, которое представляет собой человеческий ум, ты либо учишься

контролировать и направлять их, либо рискуешь сойти с ума. Может показаться, что остановилось время, но человеческий разум не останавливается никогда. Час может превратиться в вечность, но человеческий разум способен наполнить каждую секунду этого часа миллионом мыслей, миллионом вопросов и страхов. Вновь и вновь в нескончаемые часы на Лубянке я не имел никакого иного занятия, кроме обдумывания своего прошлого и опасений за будущее, имея очень много времени на вопросы и размышления. Но прежде всего, я молился.

Сначала мне было трудно поверить в то, что советские могут серьезно относиться к обвинениям, послужившим поводом для моего ареста и допросов. По их вопросам было видно, что обо мне и о моем прошлом они знают все. Никакими другими страшными тайнами я не владел. Я считал свое дело простым и не заслуживающим того внимания, которое они ему уделяли. И мне казалось, что вскоре они и сами это поймут. Я едва ли стоил подобных усилий и не сделал ничего такого, за что меня можно было бы казнить. Поскольку я верил в это, то поначалу был вполне спокоен. Допросы раздражали меня и были порой мучительны, но в начале они меня не особенно волновали. Мне действительно казалось, что рано или поздно «наверху» поймут то, что мне и так уже было известно: что я не стою подобных хлопот. Совесть моя была чиста, поэтому поначалу я был тверд и не падал духом.

В сущности, я был весьма уверен в себе. Я не думал, что следователи смогут вытянуть из меня признание в том, чего я не делал, чтобы доказать свою правоту. Я был от природы упрям и решителен, а кроме того, долгое время развивал и укреплял свою волю. Я очень гордился этими своими качествами и чувствовал, что, пожалуй, смогу отстоять свою позицию перед следователем. И вот поэтому – поскольку я знал, что не совершил ничего особенно плохого, и был уверен, что никто не может заставить меня признаться в том, чего я не делал, – поначалу я не падал духом и

ждал, что энкаведешники^[4] вскоре поймут, что ошибаются, принимая меня за кого-то особенного.

Однако после нескольких допросов на Лубянке и нескольких, казалось, нескончаемых месяцев в одиночном заключении в мою душу закрались сомнения. Мне стало ясно, что, если я не представляю из себя ничего особенного, НКВД может уничтожить все следы своей ошибки, просто приказав меня казнить. Не будет никаких адвокатов, никакого суда, никакой апелляции. В Советском Союзе война. Каждый день умирают тысячи людей, а шпионов и предателей расстреливают практически без суда и следствия. Следователи сказали мне об этом прямо. Мне так и не удалось убедить их в своей невиновности или незначительности, поэтому я уже начинал сомневаться в своих собственных силах перед лицом могущества и методов НКВД. Я никогда по-настоящему не верил в то, что меня действительно расстреляют, но в мою уверенность начали просачиваться страх и сомнения. И страшные раздумья, заполнявшие мои часы в тишине одиночной камеры после каждого допроса, постоянное прокручивание в уме всех вопросов и ответов, непрестанное мучительное пережевывание одних и тех же мыслей стали брать свое и подтачивать мой дух. И именно в этот момент я стал особенно усердно молиться.

Очень скоро после того, как я попал на Лубянку, когда нескончаемое томление одиночного заключения начало оказывать на меня свое действие, я решил как-то распределить и упорядочить свое время. Я решил составить для себя то, что в иезуитских домах мы называли «распорядок дня». Проснувшись утром, я совершал Утреннее приношение, затем, после утреннего похода в туалет и умывания, в течение часа предавался размышлению. На Лубянке мы вставали в 5:30 утра, а завтракали в семь. Это почти в точности совпадало с распорядком дня в большинстве иезуитских домов, где мне приходилось жить, поэтому дни опять начали обретать для меня определенный ритм.

После завтрака я на память служил Мессу – то есть, произносил все ее молитвы, поскольку, разумеется, у меня не было возможности по-настоящему совершать Евхаристическую жертву. Утром, в полдень и вечером, когда на Красной Площади в нескольких кварталах от Лубянки били кремлевские часы, я читал молитву «Ангел Господень». В полдень я совершал испытание совести, рекомендованное св. Игнатием в «Духовных упражнениях». Вечером, перед отходом ко сну я совершал еще один *examen*, а также готовил темы для своей следующей утренней медитации. Каждый день пополудни я три раза читал молитвы розария – раз по-польски, раз по-латыни и раз по-русски – вместо литургии часов.

Время от времени я также пел гимны на польском, английском и латинском языках – те, которые помнил с детских лет или со времен своей иезуитской подготовки, – а также песнопения русской литургии, которые я так усердно затверживал, когда учился в Руссикуме, в Риме. Иногда я часами силился припомнить выпавшую из памяти строчку, вновь и вновь повторял ее, пока мне не начинало казаться, что я пою ее правильно. Иногда, я думаю, это было скорее умственное упражнение, чем молитва; это был способ скоротать время, а уж времени у меня было предостаточно. Есть старая монашеская аксиома: *"Qui cantat bis orat"* («Кто поет, молится дважды»). Я побоялся бы утверждать, что Богу были вдвойне угодны мои гимны на Лубянке, но я уверен, что Он меня понял.

Будучи человеком, я совершал в молитве те же ошибки, что и всякий человек. Так, я молился за обращение своих следователей, но никто из них никогда не подавал ни малейших признаков обращения. Я также усердно молился о еде. В тюрьме всегда кормили плохо и мало, но военный дефицит продовольствия на Лубянке сказался в том, что питание стало еще более скудным и убогим, чем обычно. Я был постоянно голоден – настолько, что, когда доедал последнюю ложку жидкого супа или допивал последний глоток кипятка, первым делом всегда думал о том, сколько еще осталось до следующего приема пищи. Не думать об

этом в условиях тягчайшего голода, который мы переживали в то время, было невозможно. Нестерпимая физическая потребность в еде, которую каждый прием пищи только разжигал, просто изгоняла на время из сознания все прочие мысли. А когда случались настоящие приступы голода, они были столь страшны, что казалось, никакая другая боль или страдание не могут сравниться с этой мукой. По правде говоря, в сознание иногда проникали даже мысли о самоубийстве как способе покончить с этой жуткой пыткой. И некоторые, я слышал, действительно предпочитали такую смерть медленной, мучительной смерти от голода. И тем не менее, как я ни молился, мне никогда не доставалось лишней порции еды или чашки кипятку.

Посты, воздержания и добровольные епитимьи, которые я налагал на себя в прошлом, наверно, несколько облегчили мне то испытание голодом, которое всем нам пришлось претерпеть в эти годы в тюрьме. Во всяком случае, для меня этот опыт был не нов, если не считать его интенсивности. И я понял довольно скоро, что молитва не избавляет ни от физической боли, ни от умственных страданий. Тем не менее, она дает некую нравственную силу нести это бремя терпеливо. Безусловно, именно молитва помогла мне вынести все испытания.

Постепенно я также научился очищать свою молитву и изгонять из нее все признаки своекорыстия. Я научился молиться за своих следователей – не о том, чтобы они стали понимать всё по-моему или пришли к истине, дабы испытание поскорей закончилось, но просто потому, что они тоже дети Божии и человеческие существа, каждодневно нуждающиеся в Его благословении и благодати. Я научился не просить лишнего хлеба для себя, но жертвовать свои страдания, переживаемые мной муки голода за множество других людей в России и во всем мире, которые тоже испытывали в то время такие же или большие мучения. Я очень старался не заботиться о завтрашнем дне и не спрашивать, что мне есть или во

что одеться, но искать прежде Царства Божия и правды Его, Его воли для меня и для всего человечества.

«Да будет воля Твоя». В этом был ключ. Но лишь постепенно я начал ощущать все совершенство молитвы «Отче наш», молитвы Господней. «Господи! научи нас молиться», – сказали ученики, и в Своем ответе – исчерпывающем по содержанию и в то же время предназначенном для всех людей без всякого различия – Господь в самых простых словах изложил все богословие молитвы. Человеческий разум не в силах создать лучшего образца молитвы, чем тот, который дал нам сам Господь.

Молитва начинается с того, что человек предстает перед Богом, Всесильным Богом, создавшим все творения из ничего и поддерживающим их существование, дабы они вновь не обратились в ничто, Богом, господствующим и властвующим над всем на небе и на земле согласно Своему божественному Промыслу. Но этот всесильный Бог – в то же время наш Отец, который нежно любит нас и заботится о нас как о сыновьях, который в Своей любви и доброте дает нам все необходимое, направляет нас в Своей премудрости, охраняет нас, чтобы оградить от зла, дать нам пищу и вновь принять нас с распростертыми объятиями, когда мы, подобно блудному сыну, расточим все свое имение. Как отец бережет своих детей, так и Он бережет нас от зла, ибо зло присутствует в этом мире. И подобно тому, как Он способен Своим отцовским сердцем простить нас, Он и от нас ожидает, что мы будем подражать Ему, прощая других Его сыновей, наших братьев, каковы бы ни были их проступки.

«Отче наш» – молитва хвалы и благодарности, молитва прошения и покаяния. В ее простых и кратких фразах заключены все мыслимые отношения между человеком и Создателем, между нами и нашим любящим Небесным Отцом. Это молитва на все времена и случаи. Это одновременно самая простая и самая глубокая из всех молитв. Можно было бы непрерывно размышлять над каждым ее словом и предложением, но так и не исчерпать ее глубины. Если бы кто-то смог претворить каждую из ее фраз в дела своей

повседневной жизни, он бы и вправду достиг того совершенства, какого желает от него его Небесный Отец. Воистину, молитва Господня – начало и конец всех молитв и ключ ко всякой другой молитве.

Если бы мы могли все время жить с осознанием того, что мы – сыны Небесного Отца нашего, что мы всегда у Него на виду и участвуем в деле Его творения, то все наши помыслы и все наши действия стали бы молитвой. Ибо мы непрерывно обращались бы к Нему, помнили о Нем, благодарили бы Его и просили о помощи, а согрешив, молили бы о прощении. А каждая подлинная молитва начинается именно с этого: с того, что мы предстаем перед Богом. Этой фразой пользуются все духовные авторы; каждый может представлять себе это по-своему, но осуществить это на деле иногда бывает труднее всего. Слова еще не составляют молитвы – даже слова молитвы «Отче наш», которой научил нас сам Господь, или любой другой известной молитвы, которая от постоянного повторения кажется нам легкой. Нет такой формулы, которая действовала бы сама по себе; не существует магического заклинания, которое будет автоматически услышано Богом и окажет свое воздействие. Молитва, подлинная молитва – это общение. А общение имеет место тогда, когда два человека, два разума действительно некоторым образом предстают друг перед другом. Поэтому в молитве мы должны не просто вообразить себе присутствие Бога в виде некоей отцовской фигуры. Его вымышленного или воображаемого присутствия недостаточно. Наша вера говорит нам, что Бог присутствует везде и всегда рядом с нами, нам же нужно только обратиться к Нему. Поэтому именно мы должны предстать перед Богом, обратиться к Нему с верой, подняться от воображения до веры – до осознания, что мы стоим перед любящим Отцом, всегда готовым выслушать наши детские истории и откликнуться на наше по-детски искреннее доверие.

Это кажется очень простым, когда это описывают духовные авторы или когда об этом говорит наставник новичиев. И в тех редких

случаях, когда это происходит, молитва *действительно* проста. Общение с Богом легко, когда чувствуешь (нет другого слова, чтобы описать это переживание) присутствие Бога в душе. Но человеческий разум так легко отвлечь. Более того, его легко ввести в заблуждение. Человек может произносить правильные слова и изрекать благочестивые формулировки с той же легкостью, с какой собака может «говорить», что хочет есть. Человек может выучить, что нужно говорить, и произносить нужные слова в нужных ситуациях. Однако такое механическое повторение заученных формул само по себе так же далеко от молитвы, как лай бедной собаки от человеческой речи. Бог может услышать, может понять – так же, как мы можем услышать и накормить собаку, – некое минимальное общение состоится, ведь у Господа никакие усилия не остаются без награды. Но это еще не означает, что мы действительно научились молиться.

Настоящие молитвы, как я сказал, имеют место тогда, когда мы наконец предстаем перед Богом. Тогда любая мысль порождает молитву, и слова зачастую даже излишни. Такая молитва поглощает. Пережив раз, ее уже никогда не забудешь. Но я не говорю здесь о какой-то великой мистической благодати. Я говорю лишь о беседе с Богом, спонтанном излиянии души, осознавшей – пусть мимолетно, – что она стоит, прильнув к коленам любящего и заботливого Отца. Тогда на ум стихийно приходят слова хвалы и благодарности, а также вопросы, просьбы и мысли о близких и их нуждах, с которыми сливаются доверительные признания в совершенных ошибках и бесхитростные обещания следовать только Его воле.

Иногда, по благодати Божией, такие минуты прозрения приходят почти внезапно. Но в основном молитва требует усилия со стороны человека. Мы должны научиться – как научился Христос – отвлекаться от окружающей обстановки, если хотим побыть наедине с Отцом. Иисус просто уходил – в пустыню, в горы, в поле, – оставляя Апостолов, учеников и следовавшие за Ним толпы, чтобы помолиться Отцу. Тем более для нас будет легче остаться наедине с

Отцом, если мы удалимся физически, если найдем тихое местечко, где сможем мысленно сосредоточиться.

Ибо беспокойный человеческий разум, главное орудие человеческого общения, является также нашим главным камнем преткновения в молитве. Кажется, он от природы более склонен отвлекаться, чем сосредоточиваться. Он предпочитает быть свободным, непрестанно блуждать, хвататься за любую новую мысль, исследуя каждый ее поворот, нежели устремлять свое внимание в одном направлении и оставаться на одном месте. Он хочет вечно чем-то заниматься, непрестанно работать, беспокоиться, вспоминать, замышлять и планировать, мешать и спорить, искать и вопрошать. И даже когда мы пытаемся молиться, он норовит сыграть роль Бога и самостоятельно ответить на все наши просьбы, взяв на себя обе стороны нашей попытки общения с Господом. Или он вспыскивает гордостью, нетерпением, враждебностью, ожесточением или ненавистью, когда мы меньше всего этого желаем. Он чувствует себя оскорбленным или обиженным, виноватым или обескураженным как раз в тот момент, когда мы почти уже достигли цели. Иногда – и даже очень часто – время, которое мы отводим на молитву, полностью уходит на попытки овладеть нашим беспокойным умом, собраться с мыслями и сосредоточить все свое внимание на Боге. В таких случаях полезно и утешительно помнить о двух вещах: (1) что Бог сам начал этот разговор, вдохновив нас на то, чтобы мы посвятили это время молитве, и (2) что Он ценит наши попытки ответить и благословляет их.

Определенное положение тела, как и словесные формулы, необязательно для молитвы. Обязательна только стойкость. Поза на коленях не всегда способствует хорошей молитве более, чем положение сидя; стоять не всегда лучше, чем лежать. И все-таки смертный человек – совершенно особенное существо, состоящее из тела и души; поэтому наши попытки овладеть своим разумом зачастую могут быть взаимосвязаны с попытками овладеть своим телом. Расслабьте тело, и разум тоже начинает отвлекаться и

рассеиваться. Мы существа привычки, и иногда принятие того положения тела, которое традиционно ассоциируется у нас с молитвой, помогает нам достичь своего рода самоконтроля, который позволяет нам быстрее сосредоточиться. Кроме того, подобные усилия, подобное усердие – залог нашего искреннего желания ответить на призыв Бога и исполнить Его волю. Сама готовность снова и снова пытаться найти Бога и Его волю в молитве – это уже благодать и огромное благословение. Какую иную цель имеет человек в своей жизни, кроме исполнения воли Божией? И в любую минуту любая попытка последовать побуждениям Его воли сама по себе является благодатью и великим благом.

Если бы мы смогли достичь единства с Богом в молитве, то увидели бы Его волю со всей ясностью и не желали бы ничего, кроме соответствия нашей воли Его воле. Поэтому есть истина в осознании того, что даже наши самые неудачные попытки достигнуть единства с Богом в молитве – это все равно попытки ответить на Его вдохновение и благодать. А потому это также попытки сообразовать нашу волю с Его волей и выполнить Его повеление. И усердие в таких попытках – это, по меньшей мере, упражнение в привычке находить волю Божию всегда и во всем.

Лубянка во многих отношениях была для меня школой молитвы. Я был один, но от этого молиться мне было не легче. Хотя в одиночном заключении я был отрезан от всех тех зрительных и звуковых ощущений, которые рассматриваются духовными авторами и обычно видятся нам как «отвлекающие внимание», мой ум невозможно было заточить и заставить сосредоточиться надолго. Я учился молитве очень просто – так же, как учится всякий. Слабый от недоедания, изнуренный и измученный многочасовыми допросами, сбитый с толку сомнениями и растущими страхами за свое будущее, охваченный тревогой и патологической чувствительностью, вызванной постоянной изоляцией и одиночеством, я должен был научиться обращаться к Богу, как только мог и когда только мог. Я должен был научиться находить Его среди испытаний и сводящей с

ума тишины, отыскивать Его и находить Его волю во всем происходящем, видеть Его десницу во всех событиях своего прошлого, восхвалить и благодарить Его и просить Его благословения для всех, чьи лица всплывали в памяти (когда изо дня в день я не видел никаких лиц, кроме лиц надзирателей), просить у Него прощения за множество своих ошибок, которые совершал прежде и теперь, на допросах, обещать – и стараться – простить тех, кто, как казалось порой, преследует меня, и каждую минуту просить о Его непрестанной отцовской защите от зла, которое, казалось, окружало меня со всех сторон. «Господи! научи нас молиться», – попросили ученики. «Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отче наш...»

Глава шестая

Допросы

«Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый». Как часто эти слова проносились в моем уме во время допросов, которые устраивали мне на Лубянке энкаведешники, как и другие слова, которые приводит Лука: «Положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать, ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам». Как часто мне так хотелось осадить следователя блестящим ответом, каким-нибудь доводом, на который он не найдет что ответить! Но мне это никак не удавалось.

Когда меня впервые вызвали на допрос, я чувствовал себя совершенно уверенно и непринужденно. Я знал, что обвинение в шпионаже, из-за которого меня держали в заключении и привезли в Москву и на Лубянку, – полная ложь и очевидная (как мне казалось) чушь. Я никак не мог относиться к такому натянутому обвинению серьезно и был уверен, что верхушка НКВД тоже не сможет воспринимать его всерьез, как только разберется в моем деле и узнает правду. На этот счет меня ждало жестокое разочарование. Я до сих пор не знаю, всерьез ли они верили в это обвинение. Возможно, кто-то «наверху» счел невозможным или опасным признать, что все эти хлопоты были предприняты из-за «пустого места», и поэтому моим следователям было дано задание доказать, что никакой ошибки не произошло. Каковы бы ни были причины, но они упорно и совершенно серьезно заставляли меня признать справедливость этого обвинения, каким бы гротескным оно мне ни казалось. Они были неумолимы, подходили к работе основательно и хорошо знали свое дело.

Когда, после начального периода одиночного заключения на Лубянке, начались допросы, они шли почти без остановки. Допрос мог тянуться несколько дней кряду. Но, как правило, он продолжался всю ночь; по той или иной причине ночные допросы, казалось, предпочитали дневным. Некоторые мои следователи пользовались разнообразными методами. Они могли вести себя поочередно то дружелюбно, то враждебно, то очаровывать, то поносить, быть то злобными, то бесстрастными, то угрожать, то изображать голос самого разума. Но цель у них была всегда одна и та же.

По ходу допроса мне вновь и вновь в определенном порядке задавали один и тот же ряд вопросов, взятых из лежащего на столе печатного вопросника. На больших листах бумаги следователь записывал все ответы, которые я давал. Довольно часто он, казалось, не обращал особого внимания на то, что я говорил на самом деле. Писал он непрерывно, наверно, потому, что это от него ожидалось, и казалось, даже и не пытался понять, что я хочу сказать или объяснить ему. Время от времени следователь откидывался на спинку стула и читал мне свои записи. Он спрашивал меня, верно ли это по сути. Я пытался указать ему, как он извратил значение всех моих слов, чтобы привести их в соответствие с тем, что он задумал заранее. В основном это было облечено в идеологические клише. Так, мое пребывание среди рабочих в Теплой Горе описывалось так, будто я был внешним, посторонним агитатором, пришедшим, чтобы спровоцировать в массах бунт против системы и режима.

Вначале я пытался оспаривать подобные вещи или заставлять следователя исправить написанное. Следователь, если он вообще давал себе труд обратить внимание на мои жалобы, как правило, отвечал мне, что записал факты так, как они предстают в глазах советского законодательства. Советская Конституция позволяет исповедовать религию индивидуально, но запрещает ее проповедовать. И это положение, разумеется, очень разумно, так как под предлогом обучения религии Церковь на самом деле учит ненависти к коммунизму; заявления Пап о коммунизме ясно об этом

свидетельствуют. Однако он здесь не для того, чтобы обсуждать это. Его работа состоит не в том, чтобы узнать, являюсь ли участником какого-нибудь антиправительственного заговора – присутствие в стране иностранного священника говорит само за себя, так что этот пункт даже не подлежит сомнению, – а в том, чтобы выяснить все детали этого заговора, например: имена других участников, финансирование, средства осуществления заговора, названия сотрудничавших со мной организаций. В конце концов он обвинял меня в укрывательстве и предлагал перейти наконец к делу.

Дав ряду следователей одни и те же ответы на одни и те же вопросы несколько раз, я просто перестал спорить. Вместо этого я постарался концентрироваться на том, чтобы всегда давать одни и те же ответы, потому что любые изменения с моей стороны были бы восприняты как попытка ускользнуть, слабое место в моей истории, которое нужно атаковать и особенно тщательно исследовать, чтобы словить меня на лжи или противоречии. И все же, если я раз за разом повторял одну и ту же историю, приводя одни и те же биографические детали в одной и той же хронологической последовательности, это тоже могло взбесить следователя. В самом однообразии ответов он видел доказательство того, что я просто повторяю хорошо заученную ложь.

По мере того, как проходили месяцы допросов, мой первоначальный наивный оптимизм и уверенность в себе уступали место негодованию и отвращению. Каждый очередной поход на допрос был для меня теперь почти невыносим. Когда надзирательница в очередной раз вызывала меня пройти по тускло освещенным коридорам в кабинет следователя, чувство отвращения во мне было так сильно, что все мое тело сотрясала физическая дрожь. Это было сильнее меня, и я никакими силами не мог совладать с этим. Но, что, наверное, хуже всего, я начал сдаваться. Я устал исправлять ложные истолкования, которые приписывались каждому моему поступку; мне стало попросту безразлично, что говорит или пишет следователь. Дальнейшие усилия казались

бесполезными. Я просто игнорировал все их происки и старался по возможности ограничиваться ответами «да» и «нет» или уклончивым «не знаю».

По закону на расследование одного дела отводился месяц. Моему делу шел уже двенадцатый месяц, а допросы все не кончались. Мое терпение и уверенность в себе, и даже мое природное упрямство, постепенно иссякали. Я устал бороться, устал спорить, но больше всего я устал от повторного обдумывания своих ответов уже после допросов в тишине одиночной камеры, устал от сомнений, страхов, непрерывного напряжения и тревоги. Последний же следователь казался человеком рассудительным, мягким и человечным. Казалось, он понимал, как сильно мне хочется поскорее покончить с этими нескончаемыми расспросами. Он сказал, что мы сможем положить этому конец, если только я помогу ему и скажу всю правду. Он говорил о том, как со всем этим будет покончено, как я выйду из одиночного заключения и с Лубянки. Одной этой мысли – одной мысли о том, что я буду снова среди людей – было достаточно, чтобы сбить меня с толку. Мне было уже действительно безразлично, что со мной будет. Мне только хотелось покончить с этой канителью, и чем скорее, тем лучше. «Конечно я скажу правду, – сказал я, – и помогу вам». Я не подразумевал, что скажу любую ложь или признаю то, чего не признавал раньше; но я не собирался и спорить с тем, как он истолкует сказанное мною.

Слишком поздно я осознал свою ошибку. Я осознал также мотивы, стоящие за моими поступками, моральную усталость и сокрушенность, желание наконец избавиться от умственного и физического напряжения, вызванного как допросами, так и изоляцией. Поэтому, когда мы вместе в последний раз повторяли вопросы, я попытался снова изменить курс. Я попытался вновь вернуться на ту высокую позицию, которую я так болезненно и так упрямо удерживал столько месяцев. Однако мой ласковый и обходительный следователь мягко, но упорно вел наш разговор к своей цели. Казалось, он был оскорблен, быть может, раздражен

теми «уточнениями», которые я хотел внести, теми «разъяснениями», которые я хотел ему дать. Он проигнорировал их, не изменив ничего, но любезно напомнил мне, что при такой скорости процесс никогда не закончится. Я сдался. Я убедил себя, что мои усилия бесполезны, и, пожав плечами, позволил процессу идти своим чередом. В конце концов, сказал я себе, какое это имеет значение? Что это может изменить для кого-нибудь, кроме меня – а я просто хочу на волю. Я убедил себя, что, со своей стороны, я говорил только правду и продолжаю говорить только правду. Все остальное неважно, лишь бы все это поскорее закончилось.

Как только я принял это, главное, решение, все стало на удивление просто. Если мне и докучали какие-то сомнения, они касались того, что будет со мной после Лубянки. Однако, что бы ни было после, этому испытанию скоро придет конец. Конец был уже виден. Чувством облегчения, освобождения от напряжения и борьбы была проникнута каждая вторая моя мысль. Мне нужно было лишь позволить завтрашнему дню самому заботиться о своем.

Завтрашний день пришел очень скоро. Следователь велел мне подготовиться к последнему допросу. Он объяснил, что мне нужно будет подписать составленные им документы. Я должен буду прочесть и подписать каждую страницу собранного материала. Он предупредил меня, что это – один из важнейших этапов всего процесса. Не знаю почему, но я не ожидал этого. Теперь я оказался в ловушке, и ночь прошла в новых моральных страданиях и муках. Я был в негодовании от показной доброты и вежливости следователя, которая так мягко подвела меня к этому моменту. Мне хотелось, чтобы можно было взять назад мое обещание помогать ему и следовавшие за ним допросы. Что я мог сделать теперь? Отказаться подписывать документы? И что тогда? В этот решающий час мне, как никогда, пригодилось бы вмешательство Святого Духа, который защитил бы меня и Церковь. Теперь или никогда. Быть может – мученичество или капитуляция.

Все еще терзаемый этими мыслями, я был вызван на следующее утро в кабинет следователя. Он передал мне пачку материалов и попросил меня прочитать и подписать каждую страницу. Но я выгадывал время. Я стал читать материалы с растущим негодованием и скептицизмом. Казалось невероятным, что когда-то я согласился допустить все это! Я продолжал читать, но ничего не подписывал. Я пытался думать, но лишь обнаружил, что ум мой перестал работать. Перед собой я видел только пустоту. Я пытался просить Святого Духа подсказать мне, что надо сказать следователю, даровать мне слова премудрости, которые поразили бы следователя и убедили бы его теперь, в этот одиннадцатый час, поверить мне и снять возводимые на меня обвинения. Я молил Духа вдохновить меня – и не чувствовал ничего.

Чувствуя себя оставленным Богом, я знал, что надо что-то сделать. Я хотел бросить папку на стол и прямо заявить следователю, что не подпишу ни страницы. Но страх остановил меня. Я боролся с собой. Мне очень хотелось показать ему, с кем он имеет дело: не с каким-нибудь слабаком или запуганным попиком, боящимся постоять за свои права, и не с невеждой, не понимающим, что происходит. Мне хотелось высказать все, что я думаю, и покончить с этим делом прямо здесь и сейчас. Слова, которые мне так страстно хотелось высказать, уже были на кончике моего языка. Я медленно поднял голову и посмотрел на следователя, который был занят какими-то другими бумагами. Однако слов «я не подпишу» я так и не произнес. Я боялся и злился на себя за свой страх. Я сделал над собой напряженное усилие, пытаясь преодолеть охвативший меня ужас, но добился только того, что он победил меня. Я был сам себе отвратителен и ужасно расстроен. В смятении я снова медленно опустил голову и начал делать вид, что читаю.

Но наконец следователь обратил на меня внимание. «Что не так, Владимир Мартынович? Почему вы не подписываете прочитанные страницы?» Теперь я был вынужден ответить, поэтому я очень неуверенно сказал: «Я не могу подписать это в том виде, в каком это

записано. Ничего подобного я не говорил и не делал. Вы знаете, что я не тот шпион, которого вы так искусно и всесторонне описываете в этом отчете».

В ответ на эти слова мой ласковый и дружелюбный следователь переменился до неузнаваемости. Он побледнел, пришел в ярость и первое время не мог даже говорить, дрожа от непомерной злости. Лишь сделав несколько глубоких вздохов, он смог заставить себя тихо и холодно произнести: «Осознаете ли вы, бестолковый американец, всю серьезность этой заключительной процедуры? Вы играете с жизнью и смертью. Понимаете? Или вы подписываете документ в таком виде, как он есть, без каких-либо изменений, или мы избавляемся от вас так, как избавляемся от любого шпиона. За окном война. Если вы не подпишите эти листочки, я тут же подпишу другой листочек, и вы умрете еще до захода солнца. Так или иначе, это конец. Сделайте то, что требуется, или умрете». Я был буквально оглушен – и подчинился. Внезапная разительная перемена в следователе, дрожь в голосе, которая сообщала ноту террора и настоятельности его угрозам, мое собственное внутреннее смятение и замешательство, вызванное всем этим потрясение... Машинально, не думая, я взял ручку и начал подписывать.

Подписывая страницы, в основном не читая, я начал сгорать от стыда и чувства вины. Я был полностью сломлен, предельно унижен. То был момент агонии, который я не забуду до самой смерти. Я был исполнен страха, и в то же время меня мучила совесть. Подписав первую сотню страниц, я перестал даже притворяться, что читаю. Мне хотелось только как можно скорее закончить их подписывать и выбраться из кабинета следователя. Мое отвращение ко всему происходящему было невыносимо. Я проклял себя прежде, чем это мог сделать кто-нибудь другой. В своих глазах я был не менее презренным, чем в глазах других. Моя воля подвела меня; оказалось, что я даже рядом не стоял с тем человеком, которым себя воображал. В эту отвратительную долю секунды я уступил страху, угрозам, мысли о смерти. Когда была подписана последняя

страница, мне захотелось буквально бежать из кабинета следователя.

Я стоял в своей камере, потрясенный и поверженный. Сначала я не мог даже осознать всего значения случившегося со мной в кабинете следователя и того, что меня на это толкнуло. Меня терзало чувство поражения, провала, вины. Но прежде всего я сгорал от стыда. Меня физически сотрясали спазмы то напрягающихся, то расслабляющихся нервов. Когда я наконец вновь начал овладевать своими нервами, мыслями и чувствами, я начал молиться так усердно, как только мог.

Но сначала моя молитва сплошь состояла из упреков. Я упрекал себя, что не смог противостоять следователю и высказаться. Что не смог отказаться подписать досье. Я упрекал себя за то, что уступил из страха, поддался панике и просто пошел на поводу у каких-то механизмов самозащиты. Я не оставил без упреков и Бога. Зачем Он покинул меня в решающий момент? Зачем не укрепил мои силы и мужество? Почему не вдохновил меня смело высказать то, что я думал? Почему не заслонил меня Своей благодатью от страха смерти? И почему Он хотя бы, на крайний случай, не позаботился о том, чтобы от всего этого напряжения меня хватил удар или инфаркт, чтобы я просто не смог подписать бумаги? Я уповал на Него и верил, что Дух Его даст мне уста и премудрость против всех противящихся мне. Но я никого не сокрушил и только сам был полностью сломлен и сокрушен. И если сам я лично и не стою Его вмешательства, как мог Он позволить мне подписать то, что бросает тень на Церковь? Разве все это не ставило под угрозу Его честь, Его славу и будущее царства Его на земле?

Мало-помалу, разумеется, направляемый Его вдохновением и при содействии Его благодати, я начал задаваться вопросами о себе и своей молитве. Почему я испытываю подобные чувства? Ощущения провала и поражения были вполне объяснимы после того эпизода в кабинете следователя, но откуда столь сильное чувство вины и стыда? Я действовал в смятении, я уступил под страхом смерти.

Почему я должен возлагать на себя всю ответственность, чувствовать себя столь виноватым за действия, которые не были предприняты совершенно осознанно и с полного согласия воли? Я не мог нести полную ответственность за этот миг, я был почти не в своем уме. Подписать документы меня побудило почти животное стремление к выживанию. Этот поступок едва ли был сознательным и уж, во всяком случае, не достаточно осознанным, чтобы заслуживать названия человеческого. Да, я потерпел поражение. Но сколько в этом было моей вины и почему я должен испытывать такой стыд?

Постепенно, неохотно, следуя мягким побуждениям благодати, я осмелился взглянуть в лицо истине, которая лежала в основе моей проблемы и моего стыда. Ответ состоял из одного слова: я. Мне было стыдно потому, что в душе я знал, что пытался слишком много сделать сам и потерпел неудачу. Я испытывал чувство вины, потому что наконец осознал, что просил Божией помощи, но на самом деле верил в свою собственную способность избежать зла и ответить на любой вызов. Я много молился многие годы и стал ценить Божий Промысел и заботу обо мне и обо всех людях и благодарить за них Бога, но так и не доверился им по-настоящему. В некотором смысле, все это время я благодарил Бога за то, что я не таков, как прочие люди, что Он даровал мне хорошие физические данные, крепкие нервы и сильную волю и что с этими физическими данными, дарованными мне Богом, я буду исполнять Его волю во все времена, как только я смогу. Одним словом, я испытывал стыд и чувство вины потому, что в этом, самом трудном, испытании я, в конечном счете, почти полностью полагался на себя – и не выдержал.

Разве не установил я даже условия, на которых Святой Дух должен был вступить за меня? Не ожидал ли я от Него, что Он подскажет мне именно тот ответ, который я уже сам заранее решил дать? Когда же я не почувствовал именно тех Его подсказок, которых ожидал – более того, требовал, – то был расстроен и разочарован. Именно тогда я почувствовал, что Он оставил меня, и продолжал пытаться самостоятельно сделать то, что – как я уже решил заранее – должен

был сделать. На самом деле я не открылся Духу. В действительности, я давно уже решил, *что именно* я должен услышать от Духа, и когда не услышал именно *это*, то почувствовал себя обманутым. Какие бы другие слова ни говорил мне Дух в тот час, я уже не мог Его слышать. Я был до такой степени настроен услышать только одни слова – те, которые хотел услышать, – что на самом деле не слушал вовсе.

Эта тенденция ставить Богу приемлемые условия, неосознанно стремиться заставить Его волю соответствовать нашим желаниям – черта, очень свойственная человеку. И чем важнее ситуация, чем больше мы себя посвятили какому-то делу и чем больше зависит от него наше будущее, тем легче нам ослепить себя, полагая, что Бог, несомненно, должен желать того же, чего и мы. Мы видим лишь одно-единственное решение и, само собой, полагаем, что Бог поможет нам осуществить его. Во всяком случае, я уверен, что во мне эта тенденция была сильна. В детстве у меня была сильная воля. Когда я начал монашескую жизнь, я рассматривал эту черту характера скорее как талант, дарованный мне Богом, чем как изъян. Я с гордостью развивал этот талант при помощи аскетических упражнений, таких, как посты, суровые дела покаяния, тренировка воли и личная дисциплина. Не видел ли я тогда, что все это делается не всегда в ответ на Божию благодать или из апостольских побуждений, но порой из гордыни? Да, я гордился тем, что делаю это лучше и чаще других, соперничая, так сказать, с легендами о святых, чтобы доказать, что я (опять это слово-предатель) могу равняться с ними и превзойти своих современников.

Как же ужасен этот мусор эгоизма, способный отравить лучшие из наших дел, которые мы совершаем якобы из высочайших побуждений. «Он испытал их как золото в горниле», – говорит Книга премудрости о душах праведных. Некоторым образом, посредством испытаний и горестей этой жизни, наши души должны очиститься от этого эгоистического мусора, чтобы стать в конце концов угодными Богу. У каждого из нас свое испытание, и к каждому оно приходит в

свое время (возможно, некоторым легче преодолеть эгоизм, чем другим), но мы были созданы, чтобы творить волю Божию, а не свою собственную, чтобы заставить свою волю соответствовать Его воле, а не наоборот. Мы можем каждый день молиться о благодати совершить это, не всегда в действительности имея такое намерение; мы можем с легкостью пообещать в молитве, что сделаем это. Но мы не видим, сколько еще эгоизма присутствует в этом обещании, как сильно мы все еще полагаемся на свои собственные силы, когда говорим, что *мы* это сделаем. Поэтому в испытаниях, больших или малых, Богу приходится иногда позволять нам действовать самостоятельно, для того чтобы мы научились смирению, чтобы усвоили истину своей полной зависимости от Него, чтобы поняли, что все наши поступки нуждаются в поддержке Его благодати, а без Него мы не можем совершать ничего – даже свои собственные ошибки.

В полном сознании истины нашей зависимости от Бога и Его воли и состоит добродетель смирения. Ибо смирение – это истина, вся истина, истина, заключающая в себе наши отношения с Богом-Творцом и через Него с миром, который Он сотворил, и со своими ближними. И то, что мы называем унижением, представляет собой испытание, в котором подвергается проверке степень нашего понимания этой истины. Унижению подвергается наше эгоистическое «я»; не было бы никакого «унижения», если бы мы научились ставить наше «я» на свое место, рассматривать себя в подобающей перспективе перед Богом и другими людьми. И чем сильнее развита в нашей жизни эгоистическая составляющая, тем более суровое унижение требуется для того, чтобы очистить нас. Вот какое страшное прозрение снизошло на меня в моей лубянской камере, когда я молился, потрясенный и подавленный произошедшим в кабинете следователя.

Дух не покинул меня, ибо все это событие было делом Духа. Чувство вины и стыда, которое я испытывал, коренилось в том, что я не смог поставить благодать над природой, не смог положиться,

прежде всего, на Бога, а не на свои собственные силы. Я не смог сделать этого, потерпел поражение и был потрясен до глубины, но то было благотворное потрясение. Если угроза следователя была совершенно серьезна, то, значит, в тот момент для меня решался вопрос жизни и смерти. В тот момент я не видел смерть так, как видит ее Бог, или в свете тех представлений о ней, которые я, как верующий человек, себе приписывал. Как всегда, от начала и до конца, я видел свои встречи со следователем – иногда осознанно, порой неосознанно – как состязание между его и моей волей, так и в эту наиболее критическую минуту я рассматривал смерть почти исключительно с точки зрения моего собственного «я», а не как момент моего возвращения к Богу, каковым она и является в действительности. Таким образом, у меня были все основания чувствовать стыд и вину. В тот момент я проявил полную неспособность довериться Божией воле со всей решимостью христианина, крайнюю неспособность быть тем, кем я себя провозглашал, или поступать в соответствии с принципами, веру в которые исповедовал. И все же этот момент падения сам по себе был великой благодатью, ибо он преподал мне важнейший урок. При всей суровости этого испытания Бог поддерживал меня и теперь наставлял, просвещая светом Своей благодати.

«Претерпевший же до конца спасется». Вот заключительная фраза всех евангельских текстов, говорящих о доверии к Духу и о ненужности заботиться наперед, что говорить, во времена гонений. Я понимал эти тексты буквально и ожидал, что Дух научит меня, что сказать, и я одержу победу над следователем, своим гонителем. Как глупо, как эгоистично! Не Церковь испытывалась на Лубянке. То не был поединок «советское правительство или НКВД против Уолтера Чишека». То был поединок «Бог против Уолтера Чишека». Это Бог таким образом испытывал меня, как золото в горниле, чтобы проверить, как много эгоизма еще оставалось во мне после всех моих молитв и изъявлений веры в Его волю. За этот год допросов, за эти последние ужасные часы первенство моего «я»,

которое постоянно заявляло о себе и которое даже мои методы молитвы и духовные упражнения только усиливали, подверглось очищению в чистилище, после которого я был чист до мозга костей. То было довольно жаркое горнило, если не сказать больше, почти такое же жаркое, как ад. Но, благодарение Богу, я все же претерпел это испытание – и понял, до глубин моей потрясенной души, насколько безраздельно я завишу от Него во всем, даже в своем выживании, и сколь безрассудно было мое упование на самого себя.

В тот день мне представилось, что я знаю, что чувствовал святой Петр, когда отрекся от Христа, а затем вновь стал Его другом. Хотя Господь и обещал ему, что, некогда, обратившись, он утвердит братьев своих, я очень сомневаюсь, что Петр после этого еще когда-нибудь хвастался, что никогда не соблазнится о Господе, если и все соблазняются. Мне кажется вполне понятным, что Петр в своих посланиях к ранним церквам напоминал христианам, чтобы они со страхом и трепетом совершали спасение свое. Ибо, если человек начал верить в свои собственные способности, он уже сделал первый шаг на пути к падению. И величайшая благодать, которую Бог может даровать подобному человеку, это ниспослать ему испытание, которое он не сможет выдержать собственными силами, а затем поддержать его Своей благодатью, дабы он претерпел до конца и спасся.

Глава седьмая

Четыре года чистилища

Через две недели, после того как я подписал фальшивое досье, признавшись в том, чего никогда не делал, мне сообщили о том, каково будет наказание за мои «преступления». Пятнадцать лет тяжелого принудительного труда. Решение было вынесено в форме так называемого административного взыскания, а не судебного приговора. Поскольку меня никогда не привлекали ни к какому суду, приговор не был вынесен судьями в результате судебного разбирательства. Он был вынесен просто на основании моего собственного признания вины.^[5] Но каковы бы ни были тонкости, пятнадцать лет есть пятнадцать лет.

По крайней мере, думал я, пытка допросами закончена. Я даже предвкушал Сибирь и тяжелый труд: физические страдания нужно было просто претерпеть; они не влекли за собой ни вины, ни позора. Моя молитва в это время не была молитвой прощения, и уж никак не была молитвой утешения. То была молитва страданий, сомнений, страхов и тревог. Я был настолько потрясен открытием и осознанием собственной слабости, что сомневался в своей способности пережить новую атаку на мою веру. Я боялся, что когда-нибудь, некоторым образом, потеряю Бога из виду и паду окончательно. Я страстно желал того дня, когда я покину эту тюрьму и отправлюсь в лагеря принудительных работ. Это будет новое начало, новая жизнь. Тогда, быть может, я смогу забыть свои ошибки и слабости и снова начать верно служить Богу.

Но сбыться этому было не суждено. Мне предстояло еще четыре года допросов и испытаний на Лубянке, прежде чем Бог закончил очищать и закалять мою душу. Мне было не достаточно понять, что мой опыт заключения на Лубянке был предназначен Богом для того, чтобы очистить меня от зависимости от самого себя и научить

полагаться на Него. После всех ужасов прошедшего года и того кризиса, которым он завершился, я, по крайней мере, понял эту истину. Но понимание как таковое еще не ведет к делам или достижениям; и теперь меня вели к очищению на деле.

Сначала следователь сказал мне, что это период «прояснения». Некоторые вещи еще нужно прояснить – вещи, в которых мы еще недостаточно тщательно разобрались. Поскольку теперь я согласился «помогать», поскольку я и в самом деле «помог» им, подписав досье, он уверен, что следующие наши встречи будут очень плодотворны. На меня же нахлынула волна отвращения и дурного предчувствия. Мне было необычайно страшно. Пав однажды, я испытывал настоящий ужас, думая, что на этот раз могу пасть окончательно и потерять последнее, за что я все еще держался, – мою веру в Бога. Я чувствовал, что я в ловушке. Ошибку, которую я совершил, подписав досье, теперь использовали в качестве рычага дальнейшего давления на меня. Я вновь проклял себя за эту ошибку, но не видел никакого пути назад. Будущее казалось безнадежно запятнанным этой единственной минутой слабости.

Я был в таком отчаянии, что даже молитва казалась невозможной. Я чувствовал, что надо мной вновь нависла опасность и угроза, но не находил в молитве ни света, ни утешения. Вместо этого я упрекал Бога за то, что он не избавил меня от этого нового испытания. Я недоумевал, почему Он позволяет всему этому тянуться день за днем, вместо того чтобы как-то прекратить это или помочь мне найти способ сойти с той ведущей вниз тропы, по которой я, казалось, скатывался все ниже.

Ведь «помощь», как теперь представлялось, подразумевала не просто прояснение некоторых вещей, обсуждавшихся на предыдущих встречах. «Помощь» теперь означала, что я должен активно сотрудничать с ними в ряде проектов, которые они предлагали один за другим. Жизнь в лагере представили мне во всех самых черных и жестоких подробностях, подчеркнув при этом, как

легко я могу избежать всего этого, если соглашусь работать на НКВД. Я почувствовал раздражение, а затем новый стыд за свою нерешительность. Почему бы мне просто не встать и не сказать «нет»? Вместо этого я выжидал. Я принялся играть со следователем в кошки-мышки, прося его дать мне время, чтобы обдумать различные предложения.

Казалось, у него никогда не возникало сомнений, что в конце концов я соглашусь сотрудничать. Он позаботился о том, чтобы мне дали книги, чтобы я мог проводить время за чтением. В основном это были книги по истории и философии коммунизма или сочинения Маркса и Ленина. Когда мы после этого встречались, следователь устраивал мне опрос, чтобы проверить, понял ли я аргументы авторов и что я об этом думаю. Я вновь начал рассчитывать на свой природный ум и сообразительность, стараясь продлить дискуссии и тем самым оттянуть момент, когда нужно будет принять решение о сотрудничестве. И все же мне было тоскливо, потому что я знал, что чем больше шагов я сделаю на этом пути, тем труднее и опаснее будет отказаться от сотрудничества в конце. Стоит однажды солгать, и невинность потеряна навсегда. Стоит однажды упасть, и сосуд сломан. Его можно почтить, и он снова будет служить, но никогда уже не будет как новый. Так же происходит и с падшей человеческой природой, и со сломленным человеческим духом. Терзаясь подобными мыслями, я все больше приходил в уныние.

С другой стороны, следователь становился все смелее и увереннее. Он был настолько уверен, что я на пути к сотрудничеству, что даже предложил мне девушку, на которой я мог бы жениться. Мне удалось убедить его, что вследствие всей моей прежней священнической подготовки я не гожусь для брака, и что едва ли это будет справедливо по отношению к девушке. Казалось, он счел это логичным, и этот спор я выиграл. Затем он предложил, чтобы, раз уж я хочу остаться священником, я примкнул к Православной Церкви. Он объяснил, как легко он мог бы это устроить, а также позаботиться о том, чтобы у меня была трибуна, с которой я мог бы поносить Папу.

Он подчеркнул, что Православная Церковь в отличие от Католической осудила фашизм и помогает правительству в борьбе с тоталитаризмом. Папы же совершали нападки на коммунизм, в особенности Пий XII, который, несомненно, втайне сочувствует Муссолини и Гитлеру. Это привело к долгому спору на тему Церкви. Наконец мне удалось убедить его, что для меня Католическая Церковь значит, по меньшей мере, столько же, сколько для него Коммунистическая Партия. Я отношусь к ней с той же верностью и преданностью, с какой он относится к Коммунистической Партии. Я ничего не могу с этим поделать: это часть меня. Поэтому мы согласились не соглашаться, и я почувствовал, что выиграл еще один раунд.

Все это время я все больше и больше приходил в уныние. Какие бы маленькие победы я ни одерживал, я знал, что всего лишь оттягиваю неизбежное. В молитве я просил о мудрости и отваге, которые позволили бы мне достойно встречать каждый новый спор, и все же глубоко внутри я знал, что все это одна большая ошибка. И все же всякий раз, как я оказывался на грани того, чтобы положить конец происходящему, чтобы занять какую-то твердую позицию, я вновь сталкивался с тем ужасным моментом, когда нужно принять решение, со своей слабостью – и в конце концов с нерешительностью. Я не мог сделать этого. И я знал, что с каждым разом, как я приближаюсь к этому решению и не могу принять его, мне становится все труднее решиться на это в конце.

И однажды тьма сомкнулась вокруг меня. Возможно, это произошло от изнеможения, но я дошел до отчаяния. Я был подавлен безвыходностью ситуации. Я знал, что моя способность оттягивать решение почти исчерпана. Никакого выхода я не видел. Да, я отчаялся в самом что ни на есть буквальном смысле этого слова: потерял всякое чувство надежды. Я видел только собственную слабость и неспособность остановиться ни на одной из двух имеющихся у меня возможностей – на сотрудничестве или на казни. Последнее время никаких упоминаний о лагерях не звучало;

следователь говорил мне, что должен докладывать своему начальству о моих успехах в сотрудничестве с ним; он говорил о казни так, словно это произойдет, стоит им только захотеть. Но не мысль о смерти беспокоила меня. Иногда я даже подумывал о самоубийстве как о единственном решении этой дилеммы. Да, это было нелогично, но таковы безысходность и отчаяние. Главное место в моем сознании занимала безнадежность всей ситуации и мое бессилие с ней справиться.

Я не знаю, как описать этот момент при помощи слов. Я даже не знаю точно, сколько этот момент длился. Но я знаю, что когда он миновал, я испытывал ужас и недоумение. Я знал, что перешел все границы, переступил предел, за которым был такой пароксизм черноты, какого я никогда прежде не знал. Это чувство было очень реальным, и меня бросило в дрожь. Мне было страшно и стыдно, меня охватило новое чувство вины и унижения. Мне приходилось бояться и раньше, но теперь я боялся себя самого. Я знал, что мне случалось падать и прежде, но то было окончательное падение. То было отчаяние. На этот единственный миг черноты я утратил не только надежду, но и последние остатки своей веры в Бога. Я стоял один в пустоте и даже не подумал и не вспомнил о том единственном, что всегда направляло меня, что было моим единственным источником утешения во всех других падениях, моим последним прибежищем: я потерял из виду Бога.

Поняв это, я тут же, в страхе и трепете, прибег к молитве. Я знал, что немедленно должен броситься искать Того Бога, о котором забыл. Я должен был просить Его о том, чтобы этот миг отчаяния не сделал меня недостойным Его помощи. Я должен был молиться, чтобы Он никогда больше не позволил мне забыть о Нем и перестать доверять Ему. Я ссылался на свою беспомощность встретить будущее без Него. Я говорил Ему, что мои собственные силы теперь не могут мне помочь, и Он – моя единственная надежда.

И вдруг меня утешила мысль о нашем Господе и Его борении в Гефсиманском саду. «Отче, – сказал Он, – если возможно, да минует

Меня чаша сия». В саду на горе Елеонской Он тоже познал чувство страха и бессилия Своего человеческого естества, столкнувшись со страданием и смертью. Не один раз, но трижды просил Он об отмене или смягчении Своего тяжкого испытания. Но каждый раз Он завершал Свою молитву актом полной отдачи и подчинения воле Отца. «Не как Я хочу, но как Ты». Это было не просто согласие с волей Бога; это была полная самоотдача, освобождение от всех человеческих страхов, всех сомнений по поводу собственной способности выдержать страдание, от последних капель *себя*, в том числе и от неуверенности в *себе*.

Каким же чудесным сокровищем и источником силы и утешения стало для меня с той минуты борение Господа в Гефсиманском саду! Я ясно увидел, что именно я должен сделать. Я могу назвать это лишь опытом обращения и могу лишь честно сказать вам, что с того времени жизнь моя изменилась. Если мой миг отчаяния был мигом полной черноты, то это ощущение было мигом ослепительного света. Я мгновенно понял, что я должен делать и что я буду делать, и откуда-то знал, что смогу это сделать. Я знал, что должен полностью препоручить себя воле Отца и отныне жить в этом духе полной отдачи себя Богу. И я сделал это. Я могу лишь описать это переживание как чувство «выпускания из рук», полного отказа от любых попыток или даже желания управлять своей собственной жизнью. На словах все это кажется слишком простым, и все же с тех пор это решение отражалось на каждом миге всей моей последующей жизни. Я должен назвать это обращением.

Я всегда уповал на Бога. Я всегда старался отыскать Его волю, узреть действие Его Промысла. Я всегда считал, что моя жизнь и судьба направляются Его волей. То более, то менее ясно я осознавал Его побуждения, Его призыв, Его обетования и Его благодать. Особенно в тяжелые времена я старался распознать Его волю и следовать ей в меру своих возможностей. Но это было новое видение, совершенно новое понимание, нечто большее, чем просто более глубокое переживание старого. До тех пор я всегда видел

свою роль – роль человека – в Божием Промысле как роль активную. До тех пор я удерживал в своих руках контроль над всеми своими решениями, действиями и устремлениями; я считал своей задачей «содействовать» Его благодати и быть всецело задействованным в осуществлении дела спасения. Воля Божья была «где-то там», сокрытая и в то же время ясная и безошибочная. Моя же роль – роль человека – состояла в том, чтобы открыть, в чем она состоит, и затем подчинить ей свою волю и тем самым содействовать достижению целей Божественного Промысла. Я – человек – оставался по существу хозяином своей собственной судьбы. Совершенствование состояло попросту в том, чтобы учиться находить волю Божию в любой ситуации, а затем прилагать все усилия к тому, чтобы сделать то, что следовало сделать.

Теперь же, с внезапной, почти ослепительной ясностью и простотой, я осознал, что при помощи собственной воли и разума я пытался сделать нечто, что было и невыполнимо, и в то же время в основном неправильно. Воля Божия не была сокрыта «где-то там» в тех ситуациях, которые мне приходилось переживать; сами эти ситуации *и были* Его волей для меня. Он хотел, чтобы я принимал эти ситуации как исходящие от Него, отказавшись от любых попыток контроля и полностью отдав себя в Его распоряжение. Он просил от меня акта полного доверия, отказа от всякого вмешательства или беспокойной борьбы с моей стороны, от любых оговорок, от любых исключений, от любых сфер, в которых я мог бы ставить условия или выражать сомнения. Он просил меня полностью принести себя Ему в дар, не оставив себе ничего. Это требовало абсолютной веры – веры в существование Бога, в Его Промысел, в Его заботу о любой мелочи, в Его силу поддержать меня и в Его любовь, оберегающую меня. Это означало утратить последнюю тень сомнения, последние остатки страха, что Бога не окажется рядом, чтобы поддержать меня. Это напоминало ту ужасную вечность, пролегающую между тревогой и верой, когда ребенок впервые ложится на воду, отказываясь от всякой опоры – и обнаруживает, что вода действительно держит его

и он может удерживаться на ее поверхности, неподвижный и совершенно расслабленный.

Едва я осознал это, все это сразу показалось мне очень простым. Я был изумлен, что мне потребовалось так много времени и страданий, чтобы узнать эту истину. Конечно, мы верим, что зависим от Бога, что Его воля поддерживает нас в любую минуту нашей жизни. Но мы боимся подвергнуть это испытанию. Где-то очень глубоко каждого из нас донимает сомнение, крошечный комочек страха – с которым мы боимся столкнуться и в котором не хотим признаться даже самим себе, – говорящее нам: «А что, если это не так?» Мы боимся полностью отдать себя в руки Бога, из страха, что Он не подхватит нас и мы упадем. Это последнее мерило, решающее испытание всякой веры и всякого доверия, и оно присутствует в каждом из нас, молчаливо таясь в тех закоулках нашего разума, куда мы боимся заглянуть. Это даже не вопрос нашего доверия к Богу – ведь мы очень хотим доверять Ему; в действительности это попросту вопрос нашей веры в Его существование и Его Промысел, и это требует чистейшего акта веры.

Меня же к этому совершенному акту веры, этому акту полного препоручения себя Его воле, полного доверия к Его любви и заботе и к Его желанию поддерживать и защищать меня привел предшествующий опыт полного разочарования в собственных силах и способностях. Я знал, что не могу больше доверять самому себе, и в этом случае казалось только благоразумным полностью довериться Богу. То была благодать, которую Бог дарил мне всю мою жизнь, но которую у меня никогда не хватало мужества принять во всей полноте. Я говорил о распознании и исполнении Его воли, но никогда не подразумевал при этом полного отказа от своей собственной. Я говорил о доверии к Нему и даже действительно доверял Ему, но никогда не подразумевал при этом отказа от всех других источников поддержки и упования лишь на Его благодать. Прежде я никогда не мог решиться на то, чтобы полностью отказаться от своего эгоистического «я». Всегда оставались границы,

которые я не желал переходить, маленькие ограды, преграждающие путь туда, откуда – я знал это в глубине своего существа – уже нет возврата. Бог же в Промысле Своем был неизменен в Своей благодати, непрестанно давая мне все новые возможности для осуществления этого акта совершенной веры и упования на Него, непрерывно побуждая меня отпустить поводья и довериться Ему одному. Я доверял Ему и содействовал Его благодати – но лишь до определенного предела. И лишь достигнув точки полного краха своих собственных способностей, я наконец сдался.

Этот миг, это переживание полностью изменили меня. Сейчас я могу сказать это со всей откровенностью, без ложной скромности, без смущения и без преувеличения. Я должен назвать это опытом обращения; то была одновременно и смерть, и воскресение. То не было нечто, к чему я стремился, чего хотел, чего добивался или чего заслужил. Как и всякая благодать, то был безвозмездный дар Бога. То, что он был дарован мне, когда я достиг предела своих собственных способностей, – лишь часть великой тайны спасения. Я не сомневался в этом тогда; я не могу сомневаться в этом теперь. Так же, как не могу объяснить и того, как одно-единственное переживание могло немедленно и навсегда оказать такое воздействие на мою душу и на все мои привычные дела, тем более, что множество других переживаний и множество других милостей, которые мне пришлось вкусить, не имели подобных последствий. И все же это был осознанный акт выбора с моей стороны. Я знаю, что то был выбор, который я никогда не мог бы совершить – и не совершил – без вдохновения благодати Божией. Однако то был осознанный выбор. Я решил – осознанно и по собственной воле – полностью отдать себя воле Божией, не оставив ничего про запас. Я знал, что пересекаю предел, который не решался и боялся пересечь прежде. И все же на этот раз я решил переступить его – и испытал чувство не страха, но освобождения, не опасности или отчаяния, но свежего, нового прилива уверенности и счастья.

За этим порогом, который я всегда так боялся переступить, все вдруг показалось таким простым. Я видел перед собой лишь одно: Бога, который был все во всем; существовала лишь одна воля, управляющая всем: воля Божия. Мне нужно было лишь видеть ее, распознавать ее в каждой ситуации, с которой я сталкивался, и позволять ей руководить мною. Бог во всем присутствует, все поддерживает, все направляет. Чувствовать это в любом обстоятельстве, в каждой ситуации, видеть Его волю во всем – значит принимать эти обстоятельства и ситуации и отдаться водительству воли Божией в полном доверии и уповании. Ничто не могло отлучить меня от Него, ибо Он был во всем. Никакая опасность не могла угрожать мне, никакой страх не мог сотрясать меня, кроме страха потерять Его из виду. Будущее, хотя и было сокрыто, было сокрыто в Его воле, а потому я был способен принять его, что бы оно ни сулило. Прошрое, со всеми его ошибками, не было забыто; оно осталось со мной, чтобы напоминать мне о слабости человеческой природы и безрассудстве всякого упования на себя. Но оно больше не угнетало меня. Я больше не рассчитывал на то, что мое эгоистическое «я» будет направлять меня, не полагался на него ни в чем, а потому оно не могло больше подвести меня. Отказавшись – полностью и навсегда – от всякого контроля над своей собственной жизнью и последующей судьбой, я тем самым был избавлен от всякой ответственности за нее. Я тем самым был освобожден от беспокойства и тревоги, от всякого напряжения, и мог безмятежно плыть по поддерживающим меня волнам Божьего Промысла в полном душевном покое.

Исполнившись нового духа и преобразившись внутренне, я уже не боялся новой встречи со следователем. Теперь я ни видел причин бояться его или НКВД, потому что теперь я видел, что все исходит от Бога. Теперь я не боялся совершить «ошибку», ибо за любым событием, за любой необходимостью выбора стояла воля Божия. Хранимый Его благодатью, я чувствовал, что смогу встретиться с

любой ситуацией, ответить на любой вызов; что бы Он ни послал мне в будущем, я все приму.

Перемена во мне была столь разительна, что даже следователь заметил ее. Последнее его предложение состояло в том, чтобы я служил капелланом в недавно сформированной армии польских коммунистов под руководством Ванды Василевской или, возможно, в армии генерала Андерса – армии свободных поляков, созданной для сражения на задуманном втором фронте. Я просто ответил ему, что согласен на оба предложения. Он, казалось, был искренне обрадован быстротой моего ответа и моим новым расположением духа. Он сказал мне, что я кажусь более непринужденным и спокойным – каким я и был в действительности, потому что теперь, когда я знал, что со мной Бог, страх совершить ошибку оставил меня. Однако, я думаю, эта перемена во мне показалась ему подозрительной. «Хорошо, – сказал он, – я скажу людям наверху, что вы готовы служить капелланом, куда бы вас ни послали. Я передам вам их ответ, как только получу его».

Однако при следующей встрече он выдвинул новое предложение. Он сказал мне, что наверху хотят, чтобы я вместо этого отправился в Рим и служил посредником между Кремлем и Ватиканом. Теперь, когда Советский Союз – один из союзников, возможно, можно было бы заключить нечто вроде конкордата между Ватиканом и СССР. Я согласился, каким бы нелепым и абсурдным ни казалось это предложение. Мысль о возвращении в Рим, в свободный мир прежде могла бы взволновать меня, но мера моего нового чувства полной отдачи Богу была такова, что это предложение взволновало меня ничуть не больше, чем другие. Поеду ли я в Рим или нет, рассудит Бог, и Он же об этом позаботится. Я был готов принять любой исход как исходящий из рук Божиих. Обсуждение этой поездки в Рим заняло множество встреч со следователем, но все это время я оставался совершенно беспристрастным и абсолютно спокойным. Естественно, объяснял мне следователь, в Риме я буду не один. Я буду работать в команде, и меня попросят передавать

некоторые дополнительные сведения, попросят предоставлять для передачи в Москву некоторые дополнительные подробности. Если же я не буду делать этого, если не оправдаю оказанное мне доверие, те, с кем я буду работать, позаботятся о моей немедленной казни. Перед отъездом в Рим я пройду месячное обучение некоторым приемам шпионажа, которые, вероятно, потребуются мне в Риме.

Все это время я оставался спокойным. Если прежде мысль о подобном сотрудничестве огорчала и мучила бы меня, то теперь я не испытывал больше подобных страданий. Если так должно быть, значит так должно быть – с целью, известной одному Богу. Если же этого быть не должно, то этого никогда не случится. Мое доверие к Его воле и Промыслу было абсолютным; я знал, что должен просто следовать побуждениям Его благодати. Я был уверен, совершенно уверен, что когда придет время решать, Он поведет меня верным путем. Так и произошло. Когда следователь наконец попросил меня подписать соглашение относительно моей поездки в Рим, я просто отказался. Я не думал об этом поступке заранее; в сущности, до этого момента я просто со всем соглашался. Но вдруг этот поступок показался единственно правильным, и я совершил его. Следователь пришел в неистовую ярость и пригрозил мне, что меня сейчас же казнят. Я не почувствовал никакого страха. Должно быть, я улыбался. Я знал, что победил. Когда он позвал надзирателей, чтобы они увели меня – а я был уверен, что меня ведут на расстрел, – я шел с ними, словно они – служители Божией благодати. Я чувствовал Его присутствие в этот миг и знал, что Он ведет меня к будущему, предначертанному и уготованному мне Им самим. Ничего другого я и не желал.

Глава восьмая

В пути

Лубянку я покинул, как выяснилось, не для того, чтобы отправиться на расстрел, а для того, чтобы начать долгое путешествие из Москвы в Сибирь. Я был преисполнен радости. Набитые в поезда для заключенных, словно скот, во время мучительного, казалось, бесконечного пути или загнанные, как стадо, в и без того уже переполненные и примитивные пересыльные лагеря или тюрьмы, мы содержались в ужасных, просто нечеловеческих, условиях – и все же я испытывал наслаждение уже от того, что снова нахожусь среди людей. К моему удивлению, при всем моем страстном желании общаться и разговаривать поначалу мне было трудно говорить с людьми. Я жадно и любопытно слушал, как разговаривают другие, но сам говорил мало. Казалось, мой ум находился где-то в другом месте; мне было трудно иногда даже уловить, о чем идет речь. Это был странный тип дезориентации, вызванный, как мне кажется, долгими периодами одиночного заключения и оборонительными навыками, которые выработал мой ум во время допросов. Поначалу попытки беседовать с другими заключенными вызывали у меня неподдельное напряжение. И все же меня радовало и поддерживало уже то, что я просто нахожусь среди людей и слышу, как они разговаривают. Я не знал точно, что ждет меня в конце этого путешествия и куда именно я еду, но в тот момент это не имело большого значения. Я все еще был заключенным, но чувствовал себя свободным и вольным. Казалось, будто я воскрес из лубянской могилы.

Я чувствовал, что буквально жажду известий о том, что произошло за те пять лет, пока я был в тюрьме, не говоря уже о текущих событиях. Я знал, что в мой последний год на Лубянке окончилась война в Европе. Колокола на соседней Красной площади

восторженно звенели, и новость эта вызвала столько волнения и радости, что одна из надсмотрщиц радостно распространила весть об окончании войны среди заключенных. Это был один из немногих случаев за все эти годы, когда мне удалось узнать что-либо о внешнем мире. Поэтому теперь я страстно желал сведений о войне, о режиме, о других заключенных, о мире вообще. Я был невероятно любопытен, я почти попал в зависимость от всевозможного рода историй, даже от слухов. Привычка к сосредоточению, которую мне удалось выработать, пока я был в одиночном заключении, просто пала под этим градом информации. Мое внимание было постоянно рассеяно, даже когда я пытался молиться. Спокойная, глубокая связь с Богом, которую я переживал в тюрьме, периоды размышления и созерцания стали теперь более редкими и менее плодотворными.

И это не единственное, к чему мне пришлось приспособливаться. Мое стремление видеть волю Божию в каждой ситуации, разыскивать и осознавать действие Его Промысла в каждом событии начало теперь снова приходить в столкновение с реальным миром. Во время молитвы и размышления мне легко было воображать себе грядущие события и то, как я буду стараться на них реагировать. В свете той картины, которую я рисовал себе в то время, мне легко было свободно и радостно устремляться в будущее с твердым решением принимать все, что бы ни уготовал мне Бог. Но будущее стало теперь настоящим и, как это всегда бывает, оказалось более неуправляемым и суматошным, чем это рисовалось мне в теории. Поэтому мой новый дух внутренней готовности находить, понимать и принимать Божию волю в любой детали каждой ситуации быстро подвергся суровому испытанию грубой действительностью реальной жизни. Другим словами, я был наедине с Богом, так сказать, на вершине горы, но теперь мне пришлось вновь спуститься на землю, в сумятицу, неразбериху и раздоры лагерей.

И, подобно Моисею, первым делом я обнаружил присутствие зла. Не в виде абстрактной идеи или философского понятия, но в виде безобразной действительности, безжалостной, грубой, беспощадно

жестоккой. Ибо большая часть моего путешествия по широким просторам русской степи в неустроенных вагонах поездов для заключенных и примитивных пересыльных лагерях прошла в обществе совершивших тяжкие преступления уголовников. Не политзаключенных, как я сам, но головорезов, населяющих российское дно, как, в сущности, я думаю, и любое дно в мире. Они были суровы, грубы и подлы, со своим собственным набором принципов, своими нормами поведения, своей системой ценностей. Сила и хитрость были теми добродетелями, которые вызывали у них восхищение; если совесть для них вообще что-нибудь значила, то лишь как свидетельство слабости. Они давно научились презирать ее и жить по собственному кодексу. Они были совершенно беспощадны, и им были незнакомы угрызения совести. Поэтому они бессовестно издевались над политзаключенными, попадавшимися на их пути; даже вооруженные охранники боялись слишком мешать им или противоречить.

Чтобы убить, им было достаточно малейшего повода. Физическое насилие было для них просто способом завоевать господство над другими и внушить им страх. В их среде существовала определенная иерархия, основанная на силе, крутизне и бессмысленной жестокости. Но они объединялись против всех «других»; они держались вместе и вместе презирали любого, кто не был одним из них. Казалось, они особенно ненавидели и донимали политзаключенных. Они называли их предателями и тем самым как бы оправдывали свое к ним презрение. Поскольку же политические были в основном людьми образованными или бывшими партийцами, они клеймили их как «орудия НКВД». Все это, по их собственному кодексу, давало им своего рода право подавлять политзаключенных и жестоко обходиться с ними. Они не задумываясь, так, словно это было в порядке вещей, брали у них все что хотели из еды и одежды. На любую попытку сопротивления или противодействия они отвечали физическим насилием. Прав был тот, кто сильнее. Били же они безжалостно и немилосердно.

Криминальный мир, криминальное мышление были чем-то совершенно новым для меня. Все это меня ужасало и одновременно зачаровывало. Впервые я осязаемо ощутил силу зла и то, насколько всецело она может затмить силу добра. В подобных обстоятельствах порядочные люди были просто не равня тем, кто лгал, крал, запугивал, избивал, проклинал и даже убивал без зазрения совести. Человек должен был бы отказаться от всего лучшего, что в нем есть, опуститься до уровня животного инстинкта, страсти и ненависти, для того чтобы хоть как-то тягаться с этими людьми или отвечать им в том же духе. Но даже и тогда он не смог бы с ними сравниться в том, что касается простого физического насилия или жестокости. Ибо ничто не способно было сдержать этих людей, они не чувствовали никаких ограничений, они привыкли к закону джунглей, где самый сильный и самый свирепый властвует, а более слабый выживает при помощи беспринципной хитрости. Они чувствовали себя уверенно и безопасно в том мире, который населяли, мире со своим собственным законом, правилами и ценностями, столь же абсолютными, как и любой из когда-либо созданных «моральных кодексов» – и в то же время совершенно извращенными.

Более того, свое господство над другими заключенными они считали чем-то самоочевидным, словно им испокон веков неким божественным законом было предписано править миром тюрем и лагерей. И именно высокомерие этого зла делало его таким страшным. От них не было никакого спасения, разве что самому стать столь же порочным и извращенным и отвечать им тем же. И некоторые политзаключенные в самом деле прибегали к этому, когда их численность позволяла. Но власть «дна» над этим тюремным миром построена на терроре, и ему свойственны как злопамятство, так и особое организационное устройство, которое позволяет им отплачивать своим врагам в другое время и в другом месте. Так, позднее в лагерях мне случалось видеть, как головорезы входили в барак, стаскивали с лежака политзаключенного, который вместе с друзьями избил некогда, в другом лагере, угрожавшего им

уголовника, и затапывали его насмерть, в то время как все остальные люди в бараке молча стояли потрясенные. Подонки хвастались своим умением мстить, из страха перед их возмездием власть их почти никогда и никем не оспаривалась.

Я видел нечто подобное в пермской тюрьме. Я практически не сталкивался с такими явлениями в последние пять лет на Лубянке, поскольку там заключенные содержались поодиночке и большинство узников Лубянки были политзаключенными. Но теперь меня вновь грубо водворили в этот мир. В вагон-заке, в котором я выехал из Москвы, я находился в одном купе с двадцатью ворами и уголовниками. Среди них я был единственным политзаключенным. Как только конвоиры втолкнули меня в купе, я оказался целиком на их милости. Они забрали мою запасную одежду и обменяли ее у надзирателей на еду – только для себя. Они откровенно подзадоривали меня, чтобы я попробовал что-нибудь сказать или сделать. Когда я взглянул на вожака их группы в немой ярости, он выругался, сказал мне, что ему не нравится, как я на него смотрю, и пригрозил, что его дружки изобьют меня и заставят подчиниться.

Это было грубое возвращение в реальный мир. Я испытывал физический страх, внутреннюю злобу и некоторое смятение духа. Эта ситуация, эти люди повторял я себе, составляют для меня сегодня волю Божию. Меня отнюдь не забавляли эти довольно печальные размышления, но я был в смятении. Не в состоянии даже помолиться или сосредоточиться, я сидел в углу купе вагон-зака и беспокойно наблюдал за происходящим вокруг.

Я думал о предметах первой необходимости. Я вдруг осознал, насколько мало мне приходилось заботиться о подобных вещах в прошлом. Даже в тюрьме такими вещами, как пища, кров и одежда – какими бы жалкими они ни были, – я был всегда обеспечен. В некотором роде, говоря словами Евангелия, мне не приходилось заботиться, что мне есть, что пить, во что одеться и где спать. Все это так или иначе давалось мне в монашестве, а также позже, на лесозаготовках и в тюрьмах Советского Союза. Мне же приходилось

искать лишь Царства Божия и правды его! Теперь же, глядя на то, как заботятся о себе воры и уголовники в мире со своими собственными нормами и своей собственной «правдой», я начал думать о том, как же выжить мне. Сыны века сего были, конечно, догадливей сынов света. Как мне было выжить среди них? Для них не существовало ничего, помимо этого мира и этого мига. Они выживали, потому что научились выживать. В искусстве выживания они были мастерами. Не ограниченные рамками цивилизованного поведения или совести, они делали своей жертвой всякого, кто был слабее, и мстили обществу грабежами и насилием. В их представлении общество было у них в долгу. И этот долг они у него забирали. Только и всего.

При всем том я не мог удержаться от мыслей о том, как сильно их убеждения и взгляды на жизнь отличаются от моих. Эти размышления вовсе не были вызваны мыслью о том, насколько я лучше, насколько выше, чем они. В сущности, все было как раз наоборот. Я чувствовал себя с ними не на своем месте, словно чужак или изгой. Я был поражен их языком, где богохульства использовались как обычные слова, но это было ничто по сравнению с той бездной, которая пролежала между их и моими представлениями о жизни. Нас не объединяло практически ничто, кроме, пожалуй, нашего человеческого инстинкта выживания, инстинкта, который в тот момент вызывал у меня некоторую дрожь. В остальном же они презирали все существующие для меня ценности. В том, что я считал добродетелью, они видели лишь проявления слабости; в их же моральном кодексе все, что я считал грехом, рассматривалось как добродетель. Они были атеистами, материалистами, оппортунистами и абсолютно бессовестными людьми.

За долгие годы жизни с такими людьми в лагерях принудительных работ я постепенно понял, что мое первое впечатление было не совсем верным. Мало-помалу я стал понимать, что под своей жестокой личиной и извращенной моралью эти уголовники – тоже люди; люди, движимые страхом, быть может, в большей степени, чем

большинство людей, и тем не менее, люди. Как и все люди, они тоже некогда надеялись; как и всех людей, их тоже порой преследовали воспоминания – о семье, о любимых, о лучших временах, теперь утраченных, об упущенных возможностях. В некотором смысле эти люди были связаны между собой в своем собственном мире тем же элементарным стремлением к дружбе и товариществу (даже в преступлениях), которое свойственно любому человеку, той же потребностью в чувстве общности и защищенности, той же необходимостью делить с кем-то общие цели и общие ценности – пусть для них они состояли зачастую в отщепенном обществе. Осознание всего этого в последующие годы никоим образом не заставило меня принимать их поступки или мириться с их деяниями, но я научился жалеть их как людей, хотя и боялся их из-за того, кто они были и что могли сделать. Однако в тот момент, в вагоне для заключенных я испытывал только страх; тогда я видел лишь самую худшую сторону этих людей и сидел, тревожно размышляя о своем будущем среди них.

Какими будут люди, с которыми мне придется встретиться в том лагере, куда я держу путь? Будут ли они такими же, как эти профессиональные преступники? Не переняли ли они ценности и позиции этих уголовников, для того чтобы ужиться в мире лагерей и выжить в нем? Если так, то какое место займу в нем я? Придется ли мне тоже усвоить мудрость сынов века сего, дабы иметь достаточно пищи и одежды, чтобы выжить в этом мире лагерей принудительных работ? Смогу ли я о себе позаботиться?

Я понял почти сразу, что задаю такие вопросы и пребываю в таких сомнениях, от которых пообещал отказаться, препоручив себя воле Божией. Я понял также, что одно дело отказаться от подобных вопросов и сомнений в миг благодати, вдохновения и духовного прозрения, и совсем другое – не давать им возникать самопроизвольно, в момент, когда грубые и безжалостные обстоятельства повседневной жизни вынуждают разум забыть обо всем, кроме происходящего здесь и сейчас. Поэтому я не испытывал

стыда за свои вопросы и сомнения; я просто признал их тем, чем они были, и постарался внутренне собраться, чтобы вновь обрести свою преданность воле Божией вопреки обстоятельствам.

Я не знал, как буду вести себя в том мире, в который я был так грубо водворен и в котором мне предстояло жить в обозримом будущем. Я знал лишь то, что это будет моя жизнь и что Бог хочет, чтоб именно такую жизнь я прожил. Я буду работником в винограднике, где делателей, быть может, воистину мало. Однако плод будет зависеть не от меня, а от Промысла Божия, так же, как и сев. Я не знал во всех подробностях, чего именно ожидает от меня Бог, не знал я и того, как много могу ожидать от себя сам. Но именно поэтому я решил принимать все, что бы ко мне ни приходило, как исходящее от Него.

Я вновь вспомнил слова: «Сыны века сего догадливее сынов света». Казалось странным, что слова эти вновь и вновь приходят мне на ум, и в то же время то был необычный и волнующий вызов и вопрос для священника-апостола, направляющегося в поезде для заключенных в лагерь принудительны работ. Вопрос этот казался ясным. Возможно ли, чтобы моя жертва, моя самоотверженность, моя твердость в следовании воле Божией оказались меньше мудрости сынов века сего? Они знали, что для того чтобы выжить, человек должен встречать каждый день по отдельности и преодолевать его трудности, не думая о дне завтрашнем. Не решил ли и я видеть в каждом отдельном дне дар Божий, место, где я должен творить волю Божию? Уголовники выживали, принимая жизнь такой, какая она есть, приспособляясь к ее ударам, надеясь лишь пережить каждый очередной день, каким бы он ни оказался. Конечно же, мои устремления должны помочь мне оказаться более дальновидным. Каждый день должен быть для меня не просто препятствием, которое нужно преодолеть, промежутком времени, который нужно перетерпеть, вереницей часов, которые нужно пережить. Для меня каждый день исходил от Бога, вновь сотворенный и полный возможностей творить Его волю. Для меня

каждый день был цепью мгновений и событий, которые я должен был вновь вознести Богу, освятить и вернуть Ему, храня полную верность Его воле. Этого требовало мое священство. Этого требует вера каждого христианина.

Сыны века сего были целиком преданы выживанию любыми возможными средствами. Мне тоже нужно было быть преданным, но моя преданность должна была иметь еще одно измерение. Я не должен был стараться избегать тяжелых испытаний или стремиться смягчить их последствия. Я должен был видеть в них волю Божию и через них прийти к своему спасению. Иначе я буду поступать скорее как сыны века сего, чем как сыны света. Я буду действовать не как верующий, но как фаталист. Я проживу вереницу мгновений, цепь дней, но ничего не сделаю ни с ними, ни с собой. А потому я заново решился принимать всякий день и всякую минуту, помня, что они исходят от Бога, и вновь возносить их Богу, вкладывая в это все свои силы. Я не буду просто пассивно выживать подобно сынам века сего, но с Божией помощью и при поддержке Божией благодати буду деятельно участвовать в Его деле – и выживу. Я никогда не сомневался в этом, потому что не боялся не выжить. Смерть будет просто призывом возвратиться к Богу, которому я служил каждый день своей жизни. Моя жизнь состояла в том, чтобы творить волю Божию – говоря словами молитвы, которой научил нас Спаситель – «и на земле, как на небе». Воля Божия и определит, как долго мне еще оставаться на этой земле.

Погрузившись в подобные мысли и молитвы, я вновь обрел покой. Это вновь был тот покой, который дается человеку решением полностью препоручить себя воле Божией. Но на этот раз я находился не в тиши одиночной камеры на Лубянке; я сидел в углу грубого, тряского, пошлого вагон-зака. Мое положение не улучшилось, но ко мне вернулась готовность принимать волю Божию. А с ней пришли покой и новая уверенность – не уверенность в моей собственной способности выжить, но полное доверие к Богу и уверенность в Его способности поддержать меня и дать мне всю ту

силу, в которой я нуждался, чтобы встретиться со всем, что Он мне ниспошлет. Разве мог я желать большего покоя и уверенности? Я даже с нетерпением ждал теперь того времени, когда вновь буду трудиться в Его винограднике.

Глава девятая

Плоть

«Дух бодр, плоть же немощна». Как часто за долгие годы своей жизни в лагерях принудительных работ вспоминал я этот библейский стих, иногда с легкой иронией, но чаще всего в муках пронзительной телесной боли или в отчаянии полного изнеможения. И как часто за все эти годы я думал о том, как много значит для человека его плоть, как важно ее благополучие для его благополучия, какую заметную роль в любом роде человеческой деятельности играет этот прах, в который Бог вдохнул дыхание жизни. «Человек – существо, состоящее из тела и души». Мы повторяем эту истину с того дня, когда впервые открываем катехизис. Но пока тело не подводит нас, не причиняет нам боли, не заставляет нас обращать на себя внимание каким-нибудь легким приступом боли или же полным изнеможением, мы склонны принимать этот первый и драгоценнейший дар Бога человеку как должное или придавать ему мало значения.

Мой второй день в исправительно-трудовых лагерях был одним из таких дней. Первый день был довольно тяжел. Меня распределили грузить уголь в трюм корабля лопатой. Темп работы был бешеным. Все долгие зимние месяцы, пока вода в реке была замерзшей, уголь хранился на берегах Енисея в заполярном порту Дудинка. В то относительно короткое время года, когда лед сходил и река была судоходной, весь уголь нужно было погрузить на корабли и вывезти. А потому в долгие дни арктического лета заключенные дудинских лагерей работали не зная отдыха от двенадцати до пятнадцати часов в сутки. Эта работа была и сама по себе тяжела, но кроме того, уже более пяти лет я не выполнял вообще никакой работы. Тем не менее меня отвели в трюм корабля, дали лопату и приказали распределять

уголь, поступающий вниз по ленте конвейера, так, чтобы он лежал ровно.

Я работал, пока не начал валиться с ног (что по причине моего состояния произошло довольно быстро), а затем вынужден был продолжать работать из страха за свою жизнь. Остановить ленту конвейера было невозможно, и если бы я перестал работать, то был бы погребен под ревущим потоком угля. Поэтому я вынужден был продолжать двигаться, спотыкаясь и поскользываясь на движущейся грудке угля в наполняющемся трюме, работая лопатой изо всех своих сил даже тогда, когда мои руки и грудь онемели, и я уже совершенно не чувствовал совершаемых мною механических движений. Когда в ту ночь в лагере я без сил повалился на дощатый лежак, я почувствовал, что каждый мускул и сухожилие в моих руках и ногах, в моей груди и спине совершенно расшатан.

К утру же второго дня, когда в пять часов утра прозвучал сигнал к подъему, каждый мускул моего тела затвердел, словно скрученная жгутом сталь. Даже попытка встать была мучительна. Малейшее движение было как крик боли. Свесить ноги с лежака было пыткой; стоять было почти невозможно. Как же я дойду до корабля, не говоря уже о том, чтобы разравнивать уголь еще пятнадцать часов без перерыва? Этого нельзя было сделать. Это было невозможно физически. Но я это сделал.

Таково было мое первое знакомство и исправительно-трудовыми лагерями Сибири. Не было никакого периода адаптации. После без малого пяти лет непрерывного бездействия в тюрьме однажды днем мы приехали в лагерь, а следующим утром начали полноценный рабочий день. С того дня мы работали практически без выходных, разве что нас делала совершенно нетрудоспособными болезнь или спасало какое-нибудь другое чудо. Для этого нас и послали именно в эти лагеря на Крайнем Севере. В пересыльных лагерных пунктах по пути из Москвы больные и слабые отсеивались. Такие медицинские обследования проводились не из гуманности, но из соображений простой целесообразности. Правительство отдало распоряжение об

индустриализации Сибири; работать же в этой холодной стране было настоящим кошмаром; несмотря на все грандиозные посулы правительства и огромные премии, добровольцев отыскивалось мало; но рабочая сила требовалась, и в качестве таковой стали использовать заключенных. Однако везти сюда и кормить заключенного было невыгодно, если он был не в состоянии работать. Если единственной целью было заключение, для заключения больных, слабых и изможденных имелось множество тюрем. Поэтому те, кого посылали в ледяную пустыню Сибири, должны были работать. И мы работали.

Условия жизни в лагере были невыносимыми. Бараки защищали от пронизывающих ветров лишь настолько, чтобы можно было выжить – не более. Пищи едва хватало для того, чтобы поддерживать в заключенных жизнь и давать им силу, необходимую для работы. Существовал так называемый основной рацион («гарантийка»), который получали все, – его было достаточно, чтобы выжить; но в качестве добавочного стимула были еще талоны на дополнительное питание «плюс один», «плюс два» и «плюс три», которые выдавались тем, кто перевыполнял свою дневную норму. Однако эта система, умышленно или нет, была устроена так, что физически могла оказать на заключенного обратный эффект. Так, если несколько дней человеку не удавалось выполнить свою дневную норму, и он получал только «гарантийку», то от этого он становился еще слабее, и тем труднее ему было выполнять дневную норму на следующий день. Это был порочный круг. И все-таки люди выживали.

За то, что мы выживали несмотря на условия, следует отдать дань упорству и силе человеческой воли, заставляющей человеческое тело выдерживать гораздо больше, чем кажется возможным человеку, а также тому чудесному Божиему творению, каковым является тело человека. Ни одна машина, когда-либо созданная руками человека, не могла бы изо дня в день выдерживать нескончаемый, тяжелый труд в суровейших погодных условиях, а человеческое тело доказало свою способность выносить его в

сибирских лагерях принудительных работ. Довольно часто говорят о «твердости человеческого духа», поддерживающего человека в тяжелые времена, но тело явно заслуживает больше внимания, чем ему обычно уделяют. Не тренированное, пребывающее в прекрасной форме тело спортсмена, но слабое, недокормленное и самое обыкновенное тело, которым Бог одарил каждого из нас. Лишь ежедневный труд до полного изнеможения, непрерывная пытка голодом и холодом, страдание и боль, болезни и истощение, невыразимая усталость и невероятная выносливость заставили меня по-настоящему понять и оценить ту катехетическую истину, что человек – существо, состоящее из тела и души.

Существует такой род христианского аскетизма, в котором есть заметная тенденция презирать тело, рассматривая его как тленную часть человека и как источник всякого тления. Поскольку душа бессмертна, а плоть тленна, мистики, прежде всего, восточные, были склонны рассматривать тело как бессловесное животное, которое нужно силой заставить подчиниться, словно упрямого осла. «Дух бодр» и желает служить Богу и искать совершенства, «плоть же немощна» и ленива, склонна к похоти и греху, ищет удовольствия и мешает душе искать одного лишь Бога. А потому, например, древние восточные отцы-пустынники, старались покорять тело непомерно суровыми епитимьями и постами, дабы достичь господства над слабостями плоти и тем освободить душу от всякой склонности потакать желаниям этого греховного смертного естества. Эта тенденция рассматривать человеческую природу, особенно «падшую человеческую природу», как низкую и испорченную, греховную, а потому презренную, нуждающуюся в постоянном и неусыпном контроле со стороны более благородной составляющей человека в той или иной форме по сей день присутствует в традиционной христианской духовности. И я думаю, это неправильно. Ведь это гностики, манихеи, катары, альбигойцы, янсенисты и приверженцы всех других еретических движений считают материю злой, а плоть склонной ко злу. По той или иной причине именно бедному старому

телу достается все худшее, словно разум и воля никогда не бывают подвержены греховным мыслям и наклонностям, как будто грех не состоит как раз в противопоставлении своей воли (не тела) воле Божией.

Тюрьмы и лагеря научили меня величайшему уважению и любви к бедному старому телу. Именно тело принимало на себя все главные удары, какие бы страдания ни испытывала душа. Именно телу приходилось поддерживать человека, какой бы силой воли и решимостью он ни обладал. Именно телу доставался жгучий ветер, пронзительный холод, судороги в больных мышцах, свежие раны на растрескавшейся до мяса, кровоточащей плоти, грызущий голод в желудке, боль и оцепенение в перенапрягшихся тканях. Обморожения и урчание в желудке, распухшие ноги, слезящиеся глаза, потрескавшиеся губы и разбитые суставы пальцев, растяжения и спазмы, боли и ушибы – все это тело терпеливо сносило на протяжении нескончаемых дней труда под вьюжным снегом и промозглым дождем или в холодную заполярную «весну», и все же каждый раз ему как-то удавалось пронести человека сквозь очередной день. Именно тело страдало, мучилось и несло на своих плечах тяжелый груз этих ежедневных страстей и медленной смерти от нечеловеческого труда. Я всегда, во многих смыслах, относился к телу как чему-то само собой разумеющемуся. В юности я занимался многими видами спорта и в некоторых преуспел, например в боксе или бейсболе. Я был драчуном. Я вечно стремился всех превзойти, быть лучшим, сильнейшим. Я мог понести наказание и мог задать кому-нибудь жару. В первые годы своей монашеской жизни я пытался даже превзойти легенды о святых всевозможными постами и покаянными делами. Но я совершал их не столько ради того, чтобы наказать тело или достичь совершенства, сколько ради того, чтобы доказать миру и себе самому, насколько я силен. И все же только теперь, когда каждый день заканчивался изнеможением, и тело молило о каждой лишней минуте отдыха, о каждой малейшей передышке в работе, я научился по-настоящему ценить тот чудесный

дар жизни, который Бог дал человеку, наделив удивительными возможностями его тело.

Тесная связь между душой и телом есть чудо творения и тайна человеческого бытия. И все же, поскольку душа подвергнется суду после смерти, в то время как тело будет гнить в могиле, мы ошибочно полагаем, что эта смертная кучка праха – не такой дар Бога и не так благородна и прекрасна, как бессмертная душа. Ведь именно в теле мы живем и совершаем свое спасение. Именно в теле мы любимся и наслаждаемся красотами сотворенной Богом вселенной и именно в теле сами несем на себе следы страстей Христовых. Таинственное взаимодействие тела и души – неотъемлемое свойство нашей человеческой природы. Если тело больно или слабо, измождено или голодно или терпит какое-либо иное страдание, это сказывается на состоянии духа, влияет на наши суждения, меняет нас как личность. Такое легкое недомогание, как головная боль, может повлиять на наши взаимоотношения с окружающими. Именно посредством тела мы выражаем и испытываем любовь, доброту, утешение. Мы прощаем друг другу придирчивое, мелочное, раздражительное поведение на том основании, что тело плохо себя чувствует. Мы постоянно, изо дня в день, час за часом, находимся под влиянием этих таинственных воздействий души на тело и тела на душу. Многие написаны богословами о воплощении как центральном событии нашего искупления, высшей точке истории спасения. Духовные авторы могут бесконечно писать об этом, говоря об искуплении и спасительных делах, о новой твари и изменении общественного устройства, о возвышении человечества и возобновлении его целостности и святости, об искуплении, очищении и примирении падшего мира с божественной волей, о новом Адаме и Царствии Божиим и жизни будущего века. Однако мы склонны забывать ту незатейливую истину, что Бог воплотился в человеческом теле. Мы редко задумываемся над самым простым смыслом этой доктрины: что Богу тоже доподлинно известно, что значит мерзнуть, быть усталым, или

голодным, или испытывать боль, потому что и у Него тоже было тело. Много часов, много лет подряд он исполнял обыденную, незамысловатую работу плотника, много дней усталыми ногами ходил по пыльным дорогам, сводил плечи от ночного холода или прохладного дождя, не спал, когда другие спали, испытывал жажду и жару, и усталость и валился с ног от изнеможения.

Христос, должно быть, знал, что значит просыпаться в оцепенении и боли пасмурным, серым утром; должно быть, у Него болела голова, зубы, спина и кости, должно быть, Ему случалось испытывать тревогу, раздражение и досаду. Воплотившись, Бог сам испытал, что есть человеческая жизнь, что за творение Его рук представляет собой это существо, состоящее из тела и души. От тьмы утробы до мрака гроба, переживая детство, зрелость, и, наконец, долгую агонию умирания, Он сам познавал, что значит жить в горстке праха, чувствовать прохладное прикосновение материнской руки на горячем лбу, ощущать соленый вкус пота и слез, слышать музыку и пение птиц – и низайшие из оскорблений, спотыкаться и падать, получать удары и раны. В конце концов Он взмолился – как делал каждый из нас в тот или иной момент своей жизни – о том, чтобы Его избавили от бремени новых страданий. Одним словом, Воплощение заключалось в том, что Бог стал Человеком, подобным нам во всем, говорит св. Павел, кроме греха.

Пройдя через все это, нашел ли Бог, что человеческое тело и вправду так хорошо, как Он провозгласил в первые дни творения? Думаю, да. И через него Он осуществил наше искупление. Искупив нас, Он не освободил нас тем самым от страданий, боли и горя. Как Его воскресение, является нашей победой и торжеством над смертью, но это не значит, что мы не умрем, так и Его страсти искупили наши страдания, но это не значит, что мы не будем испытывать страдания и боль. И все же Его пример научил нас по-новому смотреть на свои страдания и в новом свете видеть свое тело. Искупление, спасение каждого человека состоит в исполнении воли Божией, не больше и не меньше; «Отче! – сказал Христос в

самый страшный миг Своего борения в Гефсиманском саду, – не Моя воля, но Твоя да будет». И все же Бог не требовал и не потребует от нас, чтобы мы претерпевали больше, чем Он сам претерпел в Своем воплощении, страстях и смерти, или испытали то, чего не испытал Он сам.

Для каждого из нас спасение означает не больше и не меньше, чем ежедневно брать на себя все тот же крест Христов, ежедневно принимать волю Божию, которую несет нам нынешний день, и каждое утро приносить Богу все радости, дела и страдания этого дня. Но это абстрактные слова. Что это означает на деле, как всегда, может объяснить нам наше бедное старое тело. Это означает вставать каждое утро и ложиться спать усталым. Это означает обыденность, а не праздник. Это может означать тяжелую, нудную работу, боль, отказ от удовольствий, счастья и любви, которой так жаждет человеческое сердце, до лучших времен, чтобы сделать то, что нужно сделать сейчас. Это означает трудиться ради других, прикасаться к их жизни через посредство тела. Сколько же раз, усталый, измотанный, едва не падающий с ног от рабского труда и нечеловеческих условий лагерей, я думал о том, что не могу потребовать от своего тела больше ни одного шага, и с болью и иронией вспоминал эти слова: «Дух бодр, плоть же немощна»! Воистину, человек – существо, состоящее из тела и души, и в юдоли слез мы совершаем свое спасение посредством плоти. Это первый дар, которым наделяет нас Бог и наши родители; она поддерживает нас всю нашу долгую жизнь и дает нам возможность испытывать как радость, так и горе; а когда наконец нас разлучает с нею смерть, она несомненно заслуживает самого лучшего отдыха до той поры, пока вновь не восстанет, чтобы быть прославленной в Судный день.

Глава десятая

Работа

«В поте лица твоего, – сказал Бог Адаму в Едемском саду, – будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься». Традиционно человек видит в этих словах Бога проклятие, а в работе – наказание за грех. Безусловно, многие люди рассматривают саму работу как проклятие, неизбежное зло, особенно скучный, повседневный труд на рутинной работе. Человек работает, потому что при помощи работы он зарабатывает на жизнь, кормит семью, обеспечивает ее благосостояние и будущее и свой собственный покой на старости лет. Но он не должен получать от нее удовольствие и в целом не получает его. И если и были когда-либо на земле люди, для которых работа была ничем не оправданным бременем и проклятием, то, прежде всего, это были рабочие лагерей принудительных работ.

Для рабочего исправительно-трудового лагеря ленинское изречение «Кто не работает, тот не ест» исполняется в самой суровой форме. Для каждого вида труда, к которому его принуждают, существует своя норма выработки. Если он выполняет норму, он ест. Если нет, он получает ровно столько пищи, чтобы не умереть. Норма же постоянно меняется. Если заключенный выполняет ее ежедневно, она очень скоро увеличивается. Если он перевыполняет ее в надежде получить паек «плюс один» или «плюс два», то объем работы, который он выполнял, перевыполняя свою дневную норму, становится его новой дневной нормой. Если он и дальше хочет получать больше пищи, он должен перевыполнять уже эту новую норму. Для людей же, которых вынуждает работать голод, которые слабы от недоедания, дальше закручивать гайки уже некуда.

У меня было много возможностей поразмышлять о природе и причинах труда в мои годы в исправительно-трудовых лагерях Сибири – будь то труд на пристани или в шахте, под открытым небом ледяной тундры, где мы на пустом месте создавали новый лагерь, или на строительстве новых заводов с целью выполнения пятилетнего плана советского правительства по «индустриализации» Крайнего Севера. Мы работали потому, что вынуждены были работать, чтобы есть, чтобы жить, чтобы выжить. Именно с этой целью нас сослали в эти лагеря, для нашего существования не имелось никаких других оснований. Нас были миллионы, и тем, кто заведовал лагерями, было в общем-то все равно, кто будет жить, а кто умрет; они не могли себе позволить кормить непродуктивные роты. Мы были осуждены как враги государства; если наш труд помогал строительству государства, его можно было считать компенсацией нанесенного нами ущерба, и нас в конце концов можно было освободить; если же нет – скатертью дорожка.

В таких условиях работа действительно была проклятием. Заключение ненавидели свою работу; они ненавидели руководство, заставлявшее их работать, и ненавидели правительство, осудившее их на эти жестокие занятия. И лишь то обстоятельство, что они вынуждены были работать, чтобы получать достаточно пищи, чтобы выжить, чтобы не умереть, заставляло их тупо и механически являться каждое утро в свою рабочую бригаду и идти строем по арктической пустыне с руками за спиной, чтобы приступить к выполнению очередной дневной нормы. Их вынуждало к этому страстное желание выжить. Мысль о выживании была единственным ради чего они жили и чем они жили. Они делали ровно столько, сколько должны были делать, чтобы выжить, и избегали работы настолько, насколько могли избежать ее и все-таки выжить. Работа была не важна, важна была еда. Но даже еда была важна лишь постольку, поскольку без нее человек не может выживать долго. Важно было пережить еще один день. В конце каждой рабочей смены человек подсчитывал количество дней,

оставшихся до истечения его долгого срока, и благодарил Бога, что еще один день уже позади.

Ничего облагораживающего в лагерном труде не было. Кроме необходимости работать столько, чтобы получать пищу в достаточном для выживания количестве, заключенный не видел в своей работе никакой цели, не испытывал никакой радости от достигнутого. Он не разделял официального стремления правительства индустриализировать Крайний Север, добиться новых рекордных достижений Советского Союза, покорить пустыню и извлечь наружу все богатство природных ресурсов, скрывающихся под ледяной коркой Сибири. В сущности, рабочие лагерей принудительных работ находили определенное удовольствие в том, чтобы саботировать работу, когда только возможно. И хотя за ними пристально следили бригадиры, хотя они вынуждены были выполнять определенный объем работ, чтобы есть, они все равно делали все возможное, чтобы работать небрежно. Далекие от того, чтобы гордиться своей работой, они находили в ней способ отомстить тем, кто вынуждал их работать.

Не для них был дух Комсомола, или Пионерской организации, стахановцев или ударников коммунистического труда. Не для них был даже дух обычного рабочего-коммуниста, которого непрерывная пропаганда убедила в том, что тяжелый руд есть добродетель «нового советского человека». Такая проповедь – в школах, в газетах, на радио и телевидении, на фабриках и на информационных стендах – не делает различий между людьми. Она требует одной и той же жертвы от образованных и необразованных, от служащих и интеллектуалов, от крестьян и горожан. Каждый должен время от времени вызываться делать необходимую работу «добровольно», будь то физический труд на колхозных полях, работа по расчистке снега на городских улицах или по уборке мусора в городских парках, уборка метро, автомагистралей или мест общественного отдыха, разгрузка товарных вагонов или любая другая работа, требующая больших физических усилий. Род работы

не имеет значения, и люди всех профессий на равных участвуют в коллективных усилиях. Врачи, юристы, инженеры, профессора, преподаватели, заводские рабочие, конторские служащие, школьники, домохозяйки – все в таких случаях безвозмездно принимают участие в работе.

Никто не отказывается, никто не чувствует себя ни в коей мере приниженным такими организованными трудовыми мероприятиями. Напротив, каждый рад и даже немного горд тем, что вносит свою лепту в строительство более совершенного общества. И все же многое, что говорят в подобных случаях, – простая риторика и лицемерие. Но не всё. Обычный советский гражданин действительно испытывает гордость от того, что он – часть общества, которому принадлежат небывалые завоевания – индустриальные, экономические, образовательные, общественные и, возможно, – в прошлом – культурные; часть нации, восставшей из пепла и военной разрухи и ставшей одной из двух признанных во всем мире сверхдержав. Конечно, люди будут ворчать и жаловаться на то, какой ценой им все это досталось, на дефицит товаров, на годы жертв и лишений. И все же, в то же самое время, они могут гордиться – и гордятся – теми жертвами, которые принесли, и тем самым ставят себе в заслугу общество, построенное ценой их жертв.

Ничего похожего на этот дух не было в среде заключенных сибирских лагерей, хотя за годы, которые я там провел, мы построили целые города, возвели огромные заводские комплексы, открыли и освоили новые шахты и обеспечили все необходимое, чтобы превратить ледяную, бесплодную пустыню в продуктивно действующий индустриальный центр. И мы сделали это, живя в примитивнейших условиях, кормясь так скудно, что едва не умирали с голоду, обходясь лишь самыми простыми инструментами. Мы делали это из-под палки, беря лишь грубой силой и числом. Мы делали это не из азарта, не из гордости первопроходцев, но в наказание и потому, что вынуждены были работать, если хотели жить. Но мы сделали это. Индустриализация Крайнего Севера ныне

стала реальностью – благодаря каторжному труду миллионов людей. И все же единственным чувством удовлетворения, которое когда-либо испытывали эти изнуренные, голодные, изможденные люди на этой страшной работе, было удовлетворение, которое каждый из них ощущал оттого, что пережил еще один день. Для тех же, кто продержался до конца, именно *это* было их достижением – не дома, не покоренная пустыня, не стройки, оставшиеся позади, – но то, что они смогли дожить до того дня, когда им дали оттуда уйти. Все годы, что я трудился в сибирских лагерях, я всегда исполнял самую грязную работу и служил в самых тяжелых бригадах. Причина моей участи крылась в тех обвинениях, по которым я был осужден. Кроме того, лагеря дали мне возможность так или иначе вернуться к священническому служению, и я использовал эту возможность в полной мере. Руководство лагерей прекрасно знало об этой моей деятельности благодаря стукачам и настаивало, чтобы я прекратил. Когда я отказывался и продолжал служить своим товарищам по заключению, меня наказывали, включая в самые плохие бригады, поручая мне самый тяжелый труд, возлагая на меня невыполнимые обязательства, которые доводили меня почти до полного изнеможения и практически не оставляли мне ни сил, ни времени на то, чтобы заниматься работой священника. Все усилия влиятельных друзей и сочувствующих, пытавшихся перевести меня в лучшую бригаду, были тщетны, а если и увенчивались успехом, то очень редко и ненадолго. Все годы в Сибири моим жребием были самые плохие бригады и самая грязная работа: вручную закладывать фундамент, киркой и лопатой рыть в мерзлой земле канализационные каналы, голыми руками грузить и разгружать тяжелые строительные материалы, ползать по сырым и темным отверстиям новых шахт, где от смерти меня всегда отделял всего один неосторожный шаг или случайность.

Поэтому за все эти годы я познал работу в самых худших ее проявлениях – самых зверских, самых унижительных, самых бесчеловечных. И, как я сказал, я много размышлял о ней: много о

ней думал и много молился. Чем для меня была все эти годы работа, если не наказанием, не проклятием? Воистину, я ел хлеб «в поте лица моего» – и притом ел мало. Что облагораживающего было в моей работе? Я не знал даже того удовлетворения, которое могут испытывать мать с отцом, как бы ни были они утомлены работой, зная, что своим трудом они обеспечили детям хоть немного пищи и комфорта. Я не мог испытывать того азарта, того чувства самопожертвования и патриотизма, которое испытывает советский гражданин, добровольно вызвавшийся потрудиться год-два на «целине», оставивший семью и все самое дорогое, что у него есть, и отправившийся в Арктику, чтобы помогать на строительстве фабрики, осваивать новую шахту или участвовать в выполнении плана жилищного строительства. И даже в самой моей работе было мало такого, от чего я мог испытывать гордость или удовлетворение: это была самая грязная, самая рядовая, самая грубая работа, не требующая ни ума, ни мастерства, а только «сильного хребта и слабого ума», как у нас говорили.

И все же я гордился ею. Я делал всякую работу так хорошо, как только мог. Каждый день я работал на пределе своих сил и делал столько, сколько позволяли мне в таких условиях мое здоровье и выносливость. Почему? Потому что в этой работе я видел волю Божию для меня. Я строил новый сибирский город не потому, что Иосиф Сталин или Никита Хрущев желали этого, но потому что этого хотел Бог. Мой труд был не наказанием, но способом совершить свое спасение со страхом и трепетом. Работа – даже та грубая, черная работа, которую выполнял я – была не проклятием, но дорогой, ведущей к Богу, возможно, даже способом привести к Нему других. А потому я не мог считать эту работу унижительной; она была благородна, ибо исходила от Бога. То была Его воля для меня.

Другие заключенные, конечно, не замедлили поинтересоваться у меня, не сошел ли я с ума. Они были в состоянии понять человека, старающегося перевыполнить норму, если за это он получал больше пищи, но не человека, поступающего так из чувства гордости или

стремления к достижениям. Мои ограниченные силы и выносливость после нескольких лет тюрьмы редко позволяли мне сделать больше, чем требовала моя дневная норма, тем более перевыполнить ее, поэтому они не могли понять, зачем я так напрягаюсь и каждый день работаю так хорошо, как только могу. Они спрашивали меня как это я могу потворствовать желаниям правительства, почему я всегда работаю в полную силу, вместо того чтобы саботировать работу, как я могу помогать строить новое общество для коммунистов, отвергающих Бога и презирающих все, за что стою я. Узники-христиане интересовались даже, не грех ли это – помогать – или, по крайней мере, делать вид, что помогаешь – коммунистам.

Я пытался объяснить, что моя гордость за свою работу – не та гордость, которую испытывают коммунисты, строя новое общество. Вся разница в мотивах. Как христианин, я могу разделять их желание построить более совершенный мир. Я могу так же усердно, как и они, трудиться ради всеобщего блага. Люди, которым мои труды принесут пользу, – такие же люди. Человеческие существа. Семьи, нуждающиеся в крове, чтобы защищаться от арктических ветров Норильска, или люди в других отдаленных районах, чья жизнь станет лучше благодаря природным ресурсам, которые я помогаю извлечь из-под мерзлой земли, или материалам, который однажды будут выпускать те фабрики, которые я помогаю строить. А потому, если на то пошло, мне есть чем оправдать свое участие в этой работе на благо всего человечества; в этом отношении она мало чем отличается от любой другой работы, которой когда-либо занимался кто-либо из людей. Но это не все. Мной руководило также осознание того, что работа как таковая – не проклятие, но участие в Божественном творении, искупительное и искупающее дело, благородное само по себе и достойное лучшего, что есть в человеке, – ибо оно достойно и самого Бога.

В осознании того, что, став человеком, Бог стал работником, сокрыта потрясающая истина. Он стал не царем, не предводителем, не воином, не государственным деятелем, не великим вождем

народов, каким, в представлении многих, должен был стать Мессия. Евангелия показывают нам Христа – учителя, целителя, чудотворца, но эти деяния Его общественного служения вершились на протяжении всего каких-нибудь трех лет. Все остальные годы Своей земной жизни Бог был сельским плотником и сыном плотника. Скамьи, столы и кровати, стропила и плуги Он делал не при помощи чудес, но пилой и молотком, теслом и топором. Он трудился по много часов, помогая отцу, а позже поддерживал Свою вдовую Мать грубым трудом сельского ремесленника. Ничто из созданного Им, насколько известно, не вошло в моду, не стало коллекционной вещью. Двадцать лет, день за днем, неделю за неделей он работал в мастерской. Он делал ту же работу, какую каждому из нас приходится делать в жизни. В ней не было ничего увлекательного, зато было много будничного и, наверное, нудного. О работе, которую мы делаем или делали когда-либо, можно сказать мало такого, чего нельзя было бы сказать и о той работе, которую совершал сам Бог, когда был человеком.

И все же Он не почитал это унижительным, ниже Своего достоинства, недостойным человека. Напротив, можно сказать, что Он вернул человеческому труду его истинное достоинство, его важнейшую функцию участия в Божием деле Творения. Бог снова творил и созидал, а на седьмой день почивал. Но для нашего Господа это был не просто символический акт, как для политика, который подметает кусочек тротуара, чтобы открыть кампанию по уборке улиц, или переворачивает лопатой первый ком земли на торжестве по поводу начала строительства нового объекта. Двадцать лет Он трудился изо дня в день, чтобы подать нам пример, чтобы показать нам, что эти будничные дела не стоят ниже человеческого или даже Божественного достоинства, что простая работа по дому и скучный труд кормильца семьи не обязательно должны почитаться за зло, но могут быть благородными и искупительными делами, достойными самого Бога. Труд не может быть проклятием, если им занимался сам Бог; есть хлеб в поте лица своего – значит делать не

больше и не меньше, чем делал сам Христос. И делал Он это не без причины. Он делал это много лет подряд, Он посвятил этому более трех четвертей Своей земной жизни, дабы убедить нас, что Бог не требует от нас чего-то более скучного, более утомительного, более будничного и прозаичного, менее увлекательного, нежели то, что делал Он сам. Он делал это, чтобы ясно показать нам, что даже самая простая и однообразная работа представляет собой – во всяком случае, может представлять собой, если взглянуть на нее подобающим образом, с точки зрения Бога и вечности, – участие в Божественном деле творения и искупления, каждодневную возможность содействовать Богу в главных делах Его завета спасения.

Для меня, как для священника, мысль о Христе-плотнике, Христе-работнике была вполне достаточным побуждением. Теперь, в лагерях, я вновь мог выполнять работу священника, но то была не единственная работа, ради которой Бог послал меня сюда. «Я дал вам пример, – сказал Он Своим ученикам во время Тайной Вечери, – чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам». Мое дело, мое служение состояло не только в учительстве, целительстве и совершении таинств – подобно тому, как и Его жизнь на земле не ограничивалась тремя годами Его общественного служения. Я был приведен сюда, в лагеря принудительных работ, чтобы трудиться так, как трудился бы Он, если бы был здесь, чтобы подать свои трудом такой пример, какой подал бы Он на моем месте. Ибо в этом лагере для заключенных я был Христом. И часть моего учения должна была состоять в том, что моя работа – любая работа, всякая работа – ценна сама по себе. Она ценна постольку, поскольку она – часть Божественных искупительных дел. Она ценна сама по себе и ценна для других.

Посредством работы я совершал не только свое собственное спасение – принимая ситуации каждого дня как исходящие из рук Божиих, и трудясь, дабы, некоторым образом улучшив их своими усилиями, вновь вознести их Ему, – но и спасение других людей –

по крайней мере, посредством примера, который я мог им подать. Кроме того, я мог жертвовать свои труды и лишения как искупительные дела за других, как средство искупить свои собственные прежние грехи и чужие ошибки. В суровых условиях лагеря, где люди утратили всякое понятие о достоинстве труда, я, как священник, должен был стать вторым Христом. Своим подходом к работе – каждый день, каждый час трудясь из последних сил, в полную меру своих возможностей – я старался вновь явить среди снегов и ветров сибирской пустыни то, что Христос показывал людям на протяжении двадцати лет плотничества в Назарете: что труд – не проклятие, но дар Божий, тот самый дар, которым Он наделил первого человека, Адама, сотворив его по Своему образу и подобию и поселив его в саду Едемском, чтобы он возделывал и хранил его как слуга Божий.

Глава одиннадцатая

Священство

Несмотря на все лишения и страдания, которые мне пришлось претерпеть в сибирских лагерях, в них было для меня одно великое утешение: я смог вернуться к делам своего священства. Я вновь мог служить Мессу, пусть втайне, исповедовать, крестить, утешать больных и служить умирающим. Я вновь мог говорить с людьми о Боге и наставлять их в вере, укреплять тех, чья вера была слаба, поддерживать и просвещать тех, кто был лишь назывался верующим, но желал большего, кто мог бы сказать подобно человеку из Евангелия: «Верую, Господи! Помоги моему неверию».

Конечно, все это нельзя было делать слишком откровенно. Лагерное руководство не просто неодобрительно смотрело на подобную священническую деятельность. Разумеется, оно было официально против религии, и сила советского закона, запрещающего прозелитизм, была на его стороне. Но недовольство лагерных властей имело и другие причины. Им было известно, что священники пользуются влиянием на других людей. А это, с их точки зрения, делало священников особенно опасными – не важно что именно последние говорили своим товарищам по лагерю. А потому энкаведешники регулярно вызывали священников на допрос. Мне тоже досталась моя доля допросов. Одной из целей допросов была своего рода непрестанная психологическая война, стремление извести и запугать и не самым мягким образом напомнить, что такие опасные враги Советского Союза, как священники, находятся под неусыпным наблюдением.

Время от времени на допросах сотрудники Органов умышленно давали мне понять, что сведения о многих моих священнических делах немедленно поступают к ним через осведомителей. В лагерях было полно стукачей, и все об этом знали. Заключение,

работавшие в лагерных управлениях, зачастую догадывались или даже точно знали, кто служит осведомителем, и предостерегали своих друзей от любого общения с ними. Некоторых стукачей избивали в отместку; мне были известны даже случаи, когда их убивали. Но в общем и в целом заключенные считали очевидным, что они просто не выдержали давления со стороны НКВД; такова была жизнь, а первейшей обязанностью человека было выжить. Поэтому заключенные могли жалеть стукача, могли презирать его, но на деле они просто избегали его или же говорили с ним лишь о самых незначительных вещах. В таком тесном мирке, как лагерь, слухи о вступивших в ряды осведомителей распространялись быстро. В некотором смысле это облегчало положение других заключенных, но это было на руку и властям. Это порождало чувство недоверия среди заключенных; люди по-настоящему боялись кому-то довериться, разве что знали этого человека исключительно хорошо. И тем труднее было заключенным как-то организовать или подготовить заговор.

Я уверен, что подобным же образом и во многом по тем же причинам сотрудники Органов давали нам понять, что осведомители непрестанно наблюдают за священниками: чтобы люди не спешили вступать в беседы религиозного характера со все расширяющимся кругом не слишком хорошо знакомых им людей. Частые допросы священников имели еще одну цель: узнать, что заключенные все-таки говорят. Если они не говорят со священниками о религии, то должны же они говорить с ними о чем-то, кроме погоды. Поэтому сотрудники НКВД пытались выяснить, что говорят в лагере, кто стоит во главе различных группировок, что говорится в бараках с глазу на глаз, что думают заключенные о режиме, о системе, о будущем. Я твердо отказывался «помогать» им, отвечая на подобные вопросы; я был сыт по горло своей «помощью» НКВД на Лубянке. Кроме того, я понимал, что должен остерегаться даже делать вид, что «помогаю», чтобы у заключенных не возникло подозрения, что я могу нарушить тайну исповеди. Разумеется, у меня самого не возникало даже

мысли о ее нарушении, но я должен был быть предельно осторожен, чтобы подобных мыслей не возникало и у других.

За то, что я не «помогал» на допросах, меня наказывали разными способами. Меня включали в самые плохие и даже в штрафные бригады, чтобы я не мог найти последователей. Меня часто переводили из бригады в бригаду, мне урезали паек. Меня селили в самых плохих бараках, не давали никаких поощрений, даже тех, которые я заслужил. И если бригадир или дежурный по барaku по какой-то причине включал мое имя в список заслуживших поощрение, какое-нибудь вышестоящее лицо тут же вмешивалось, чтобы помешать мне получить его. Между тем преследования и допросы продолжались.

Несомненно, священников в этом отношении выделяли. Но система, основанная на страхе и запугивании, какую представляли собой лагеря, не могла ограничиться только этим религиозным меньшинством. Лагерное руководство смертельно боялось небольших мятежей и бунтов среди заключенных и было постоянно настороже. Они шли на все, чтобы разрушить общность национальных или языковых групп среди заключенных и даже групп людей из одного города или людей, объединённых общим прошлым, например, учившихся в вузах или бывших партийцев. Однако, поскольку в заполярных лагерях содержались представители всех народов Советского Союза и множество людей с общими истоками, такими, как армия, вуз или партия, сотрудники Органов не могли помешать образованию групп по интересам или общению их членов между собой в свободное от работы время. Несомненно, это было одной из причин того, что длина рабочего дня почти превышала пределы человеческой выносливости. Это было также причиной формирования смешанных бригад, в которых у людей не было почти никаких (а то и вовсе никаких) общих интересов. В этом была также причина частых переводов из бригады в бригаду. И наконец, в этом была причина того, что органы безопасности не скрывали своего сотрудничества с осведомителями. Чего бы им это ни стоило, они

должны были иметь возможность изолировать потенциальных нарушителей спокойствия и всевозможных лидеров. И то, что священники были потенциальными лидерами национальных и религиозных групп, было не менее важной причиной столь пристального наблюдения за ними, чем атеистическая пропаганда или гонения на верующих.

Тем не менее меня удивляло то, как мало все эти меры безопасности отражались на отношениях священника с другими заключенными. Как только священник появлялся в лагере, один или с другим священником, его тут же окружали заключенные. Как только в новой бригаде, новом бараке или новом лагере становилось известно, что среди заключенных есть священник, его сразу начинали разыскивать. Ему не нужно было искать друзей: они приходили к нему сами. То был прекрасный опыт смирения, потому что священник быстро начинал понимать, что это – действие благодати Божией, которое мало связано с его собственными усилиями. Люди приходили к нему, потому что он священник, а не потому что он им нравился лично. Они также не всегда приходили за мудрым советом, духовной мудростью или решением всех своих проблем; они приходили, чтобы получить отпущение грехов, чтобы принять таинство. Осознание этого приносило радость и смирение. Священник понимал, что они приходят к нему как к человеку Божию, представителю Бога, человеку, которого Бог избрал и поставил, дабы он служил людям в делах Божиих; он понимал также, что тем самым на него возложена обязанность служить, не думая о собственных неудобствах, как бы ни была сильна его физическая усталость, какой бы опасности со стороны властей он ни подвергался. Что касается меня, то я не мог не видеть в каждой встрече с каждым заключенным, воли Божией для меня – сейчас, сегодня, здесь – и Промысла Божия, приведшего меня сюда странным, извилистым путем.

Не всегда дело было в проповеди Бога и веры. Иногда достаточно было просто уважать всех своих товарищей по лагерю, делать

каждому добро независимо от его слов и дел, независимо от его отношения к тебе. Даже христиане, приходившие именно за советом, нуждались в сострадании и моральной поддержке больше, чем в напоминании об их обязанностях и грехах. Здесь не было нужды проповедовать о грехе, о проклятии или об адском огне, поскольку эти люди каждый день проходили через ад одиночества, страха и разлуки. От священника требовалось очень много терпимости и понимания, если он хотел, чтобы труд его среди этих несчастных, почти деградировавших людей принес пользу. Здравый смысл и интуиция, умение почувствовать перст Божий в каждом вопросе, беседе или встрече были куда важнее, чем зазубренные ответы из учебника богословия.

До моих печальных переживаний на Лубянке, где я наконец понял, что в духовных делах все зависит от Бога, а не от человека, мне всегда казалось, что у меня есть готовые ответы и объяснения на все проблемы морали и вопросы совести. Однако теперь, в лагерях, после того, как я сам, не выдержав испытания, познал Божественную истину таким нелегким путем, я мог смиренно служить тем людям, которых Бог посылал мне каждый день. Мы медленно учимся распознавать действие Духа внутри нас самих. Но насколько же медленнее мы начинаем различать действие Духа в других! Изо дня в день трудясь в лагерях, я вновь и вновь благодарил Бога за тот страшный период очищения, через который я прошел на Лубянке и благодаря которому я мог служить теперь этим измученным людям. Я благодарил его также за таинственное действие Его благодати, приведшее меня сюда. Но более всего я благодарил Его за то, что Он избрал меня, чтобы я был священником, и за ту радость, которую Он дарил мне теперь, вновь дав мне возможность исполнять мое священническое служение.

В любом лагере было некоторое количество священников. Это также служило мне источником утешения. Те из них, кто был там дольше всего, обычно уже имели связи, позволявшие доставать все необходимое для Мессы. Они очень радовались появлению в лагере

еще одного священника и быстро распространяли слух об этом среди заключенных. Дружба с ними приносила мне радость и сама по себе, но она также вновь дала мне возможность исповедоваться и принимать таинства, говорить на духовные темы и делиться опытом. Мы вместе обсуждали наилучшие пути решения тех проблем, с которыми приходили к нам заключенные, – специфических проблем, какие возникают только в лагерях и никогда не рассматриваются в курсе теологии. Мы наставляли и поддерживали друг друга, вместе молились и произносили краткие проповеди. Конечно, то были не самые безупречные и гладкие проповеди, но они звучали в таких условиях, что нередко волновали и задевали за живое. Для меня очень много значило просто быть с этими людьми и видеть, как они словом и делом доказывают свою преданность Богу и той пастве, которую Он вверял им изо дня в день.

Не все они были совершенны. Даже среди самих священников встречались осведомители. Иногда мы узнавали это, потому что надежные люди из заключенных, работавших в управлении, рассказывали нам о слышанных ими беседах. Иногда эти священники сами рассказывали нам с глазу на глаз о том, как их принудили к такому сотрудничеству, и молили о прощении. Может показаться странным, но осведомители и те, кого в этом подозревали, никогда не исключались из нашего общества. Они участвовали в наших Мессах. Мы выслушивали их исповеди, а они выслушивали наши. Такова была сила нашей веры в тайну исповеди. И мы не могли заставить себя отказать кому-то в благодати, которую он мог обрести, приступая к таинству или слушая слово Божие. У каждого из нас были недостатки; каждый из нас слишком хорошо знал, как сильно он зависит от Бога и Его благодати.

В каждом лагере также было некоторое количество священнослужителей-баптистов, но они редко вступали с нами в какое-либо общение. В сущности, большинство из них были яростными противниками католичества и иногда открыто выказывали свой антагонизм и враждебность. Они и их

последователи держались тесной, сплоченной группой. Они регулярно проводили молитвенные собрания, наизусть цитировали Библию и наставляли друг друга в верности Христу и противостоянии Антихристу – будь то в облики коммунизма или католицизма. Возможно, потому, что они были такими упорными и откровенными, а может быть, потому, что держались такой сплоченной группой, лагерное руководство было особенно сурово по отношению к баптистам и делало все возможное, чтобы разбить такие группы. Меня огорчало и часто озадачивало их отношение к другим верующим, особенно в таких обстоятельствах, и все же невозможно было не восхищаться их самоотверженностью и тем свидетельством, которое они давали своей вере. Некоторые из них чувствовали, что их отношения с другими христианами не слишком соответствуют духу Христа и даже просто милосердия. И все же, если они искренне полагали, что Церковь некоторым образом стоит за Антихриста, то их страх по отношению к нам и их поведение легко объяснить. Конечно, во всех других отношениях они были достойны восхищения. И они никогда не боялись отстаивать свою веру, страдать за нее и тем самым свидетельствовать своей повседневной жизнью о своей вере.

То же самое можно сказать о тех немногих православных священниках и монахах, которых мне довелось повстречать в лагерях. В основном они были не слишком деятельны, но казались воистину святыми людьми. Они держались в стороне от споров, а иногда были даже против общественной религиозной деятельности, но вели простую молитвенную и трудовую жизнь. В бараках они держались особняком, редко вступая в беседы с другими заключенными. Некоторые пожилые заключенные из православных иногда приходили к ним и некоторое время проводили, беседуя с ними лично, но, казалось, православные священники избегали делать что-либо, что могло привлечь к ним внимание и вызвать столкновение с лагерными властями. Тем не менее другие

заклученные уважали их, не трогали и порой с любопытством относились к их молитвенной жизни.

Однако ключевое слово, способное отразить апостольство священников в лагерях, – это слово «свидетельство». Важно было не столько проповедовать Бога и говорить о религии с окружающими, сколько просто жить той верой, которую мы сами исповедовали. Многие из заключенных поначалу не понимали, что значит посвящать свою жизнь Богу в труде, страдании и самопожертвовании. Но они начинали с простого уважения к такой жизни, уважение же перерастало в чувство восхищения, а затем и в живой интерес. На них оказывали влияние не столько наши слова, сколько наши дела, наша жизнь. Они прекрасно разбирались в жизни лагеря и в тюремной системе; они знали, что священники – объект особенно яростных нападков со стороны руководства. И в то же время видели, что священники не ожесточаются, видели, как они из последних сил помогают другим и каждый день отдают больше, чем требуется, не жалуясь, не думая о себе, забывая о собственном удобстве и даже безопасности. Они видели их готовность помогать больным и грешникам, даже тем, кто обижал и презирал их самих. Если священник проявляет заботу о таких людях, говорили они, то, должно быть, он верит во что-то, что делает его одновременно человеческим и близким к Богу. Это качество священников нравилось им больше всего. Именно оно заставляло их искать новых отношений с Богом, примиряясь с Его законом и с совестью. Помогать заключенным возвращаться к вере в Бога, которую они давно оставили или просто игнорировали многие годы, было для нас величайшей радостью и утешением.

Католики польского, украинского, литовского и латвийского происхождения были главным объектом нашего апостольства и ядром любого лагерного «прихода». Они твердо держались за свою веру и были несказанно рады тому, что среди них есть священник, что они снова могут принимать таинства. Они традиционно относились к священникам с большим почтением и в лагерях всеми

средствами заботились о нас, защищали нас и старались сделать наше апостольство возможным и плодотворным. Они делились с нами любой крохой оставшейся у них пищи. Они караулили нас, когда мы служили Мессу, чтобы предупреждать о приближении надсмотрщиков или присутствии осведомителей. И они приводили к нам других заключенных. Конечно, не все они были примерными христианами, но они верили. Возможно, они не всегда были в состоянии разъяснить истины веры так, чтобы это удовлетворило любопытство тех, кто вырос при советском строе и слышал лишь насмешки над религией в школе, но их собственная вера свидетельствовала о том, что вера сообщает жизни новое измерение, что человек может верить во что-то кроме материального мира и что вера эта может придать смысл жизни даже в таких условиях, которые в противном случае могут вызвать только отчаяние. И именно их вера – как бы ни были далеки от совершенства ее проявления – побуждала других приходить к нам, чтобы больше узнать о вере, способной придать жизни такой смысл.

Не было никаких поразительных бесед, не было чудес, необычайных молитв, свидетельствующих о действии Святого Духа, никакого блеска и великолепия на богослужениях, которые могли бы привлечь обычных рабочих к участию в них, и совершенно ничего показного, потому что из опасения репрессий все наши евхаристические встречи и духовные службы проводились в уединении. То немногое, что делалось, делалось очень просто, для Бога, и будь то тайная Месса, крещение, заупокойная служба, проповедь, произнесенная экспромтом, посещение больного, исповедь, невнятное слово совета или молитва, прочитанная на ходу, в лагере или пока нас строем, сквозь снега, вели на работу, – все делалось в духе глубокой веры, и как священники, так и верующие видели в этом свою миссию в лагерях. С одной стороны, священник никогда не терял из виду свою собственную незначительность. Ему, как работнику виноградики, казалось несбыточным когда-либо оказать хоть какое-то заметное

воздействие на народ этой страны, официально исповедующей атеизм. С другой стороны, он мог ежедневно ощущать силу Божией благодати, мог полностью положиться на Божий Промысел. А потому его задача была в том, чтобы каждый день исполнять то, о чем просит его Господь, так совершенно, как только возможно, а остальное препоручать Богу.

Служение священников также придавало новый смысл тяжелому труду и жестоким страданиям, которые людям приходилось переносить, чтобы выжить в лагерях Сибири. Исполняя роль второго Христа, посредника между Богом и людьми, священник мог жертвовать свои страдания и труд за своих товарищей. Он мог принимать ежедневные труды и страдания как исходящие от Бога, и вновь возносить их Богу, жертвуя их не только за себя самого, но и за всех окружающих, за всех, кто боролся за сохранение своей веры или же еще не обрел дара веры. От этого не становилось легче вставать по утрам, зная, что тебя ждет очередной день грубой работы на хлестком ветру, да и сама работа не становилась от этого менее изнурительной, но это сообщало нашей жизни новое измерение жертвенности и искупления, и выжить, продержаться еще один день уже не было для нас единственной целью. Это делало наше служение еще более осмысленным и самоотверженным; это придавало священный смысл труду и страданиям каждого дня. Это превращало каждый миг и каждое усилие в дело пастырского служения. Ибо предназначение священника не только в том, чтобы служить Мессе и выслушивать исповеди, помогать больным, утешать умирающих и говорить слова утешения и духовной мудрости нуждающимся. «Всякий священник избран из числа людей и поставлен, дабы служить людям в делах Божиих, – говорится в чине рукоположения. А дела Божии – это все радости и страдания каждого дня, какими бы скучными и обременительными, будничными и незначительными они ни казались. Дело священника – вновь возносить все эти радости и страдания Богу, жертвуя их за своих товарищей, и служить примером, свидетелем, мучеником,

живым свидетельством Божьего Промысла и воли для всех, кто его окружает. После нескольких лет изоляции и одиночества на Лубянке мне было радостно вновь получить возможность творить все это посреди физической боли и страданий, горя и отчаяния заполярных лагерей Сибири.

Глава двенадцатая

Апостольство

Цель моего приезда в Россию оставалась неизменной от начала и до конца: помогать людям обрести Бога и жизнь вечную. Как будет развиваться моя работа по спасению душ, какую форму она примет, с самого начала оставалось неясным. И все же эта неясность меня не смущала, ибо мое представление о будущем, каким бы туманным оно ни было, всегда опиралось на твердую веру и полное упование на Божий Промысел. На протяжении всех двадцати трех лет, что я провел в Советском Союзе, я всегда был убежден, что Бог хочет, чтобы я был там; и что бы – важное или незначительное – я ни делал, все укрепляло мою веру, мою уверенность в Его воле. Мысль о том, что я творю Его волю, стараюсь исполнить все, о чем Он просит меня каждый день, давала мне уверенность. В конце концов, никакое зло не могло коснуться меня, пока со мной был Бог. Каким же простым кажется все это теперь, когда я пишу об этом! Впрочем, это казалось простым и тогда. И все же, несмотря на всю свою ужасающую простоту, это не перестает быть истиной, подобно тому, как все великие истины почему-то кажутся детски простыми или наивными, когда пытаешься передать их обычными словами. Так, в основе катехетического утверждения, что «человек сотворен для того, чтобы хвалить Господа Бога своего, почитать Его и служить Ему, и чрез то спасти свою душу», лежит вера в реальность Бога и в Его Промысел. И все же это великая истина, на которую опирается все бытие человека.

Также, в начале я лишь туманно сознавал, с какой болью и страданием мне придется встретиться в Советском Союзе. Если бы кто-то спросил меня, желаю ли я пострадать и умереть за веру, полагаю, я бы сказал «да». Такие вещи легко говорить, когда угроза туманна, а вера сильна. Если быть совсем честным, я никогда по-

настоящему не задумывался о лишениях, которые мне придется пережить в России. Мне легко было говорить: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой», – и уповать, что Бог будет защищать меня, если я буду всеми силами стараться исполнять Его волю. В то время я никогда не задумывался о том, что эти слова Христа были сказаны во время Его последнего борения на кресте, в завершение Его страстей и земного служения.

Боль и страдания – нечто такое, о чем мы предпочитаем не думать, чего мы хотели бы избежать. Помню, что еще мальчиком я ненавидел проповеди или беседы на реколлекциях, посвященные Страстям Господним. Когда преподаватели или духовные руководители начинали живописать муки, через которые прошел Христос, я содрогался. Все это рисовалось мне так живо и в то же время представлялось таким нелепым; казалось, что в этом нет никакого смысла. Мысль о боли вызывала у меня отвращение, шла ли речь о Страстях Господних или об окружающей меня жизни. Жизнь для меня была слишком драгоценна, чтобы калечить ее болью. Поэтому я хотел слышать о страстях нечто иное, я искал в страданиях Христа какого-то смысла помимо боли. Я думаю, впервые осознание этого смысла начало приходить ко мне на уральских лесозаготовках, вместе с болью и страданием, как телесным, так и духовным, с которыми я там столкнулся. Ведь именно там я впервые начал понимать боль и страдание в более широком контексте апостольства.

Приехал ли я в Россию, потому что желал этого сам? Нет. Я приехал потому, что был убежден, что этого хочет Бог. И мой приезд, моя верность воле Божией предполагали определенные жертвы. Это предполагало мою разлуку с родиной, с иезуитами, которых я знал и с которыми вместе трудился, с семьей и друзьями и со всем, что я знал в первые тридцать лет своей жизни. Словом, это предполагало, что я должен порвать со всем, что я знал и что делал прежде, чтобы привыкнуть к новой, незнакомой, странной и нелегкой жизни, полной лишений, и в этих условиях продолжать свое апостольство.

Ту же жертву приходится приносить и множеству других людей: миссионерам, военнослужащим, супругам, молодым людям, впервые покидающим дом. Подобная жертва – первое испытание, которому подвергается всякое призвание, всякий призыв следовать воле Божией. «Вот, иду, как в начале книги написано о Мне, исполнить волю Твою», – говорили о Христе пророки. Это станет основным принципом Его жизни и Его призвания; это – основной принцип любого христианского призвания, и лишь в свете этой верности воле Отца в жертве, боли и страдании следует воспринимать слова Христа, сказанные Им на кресте: «Отче! В руки Твои предаю дух Мой».

Но почему страсти? Почему боль и страдания? Неужели Бог столь мстителен, что Ему необходимо причинять боль и страдания тем, кто Ему послушен? Ответ заключается не в желании Бога причинять боль, но в несовершенствах того мира, в котором мы живем и стараемся быть послушными Его воле. Жизнь и страдания Христа были искупительны; Его «апостольство» в замысле спасения было призвано восстановить исконный порядок и гармонию всего творения, некогда расстроенные грехом. Его совершенное послушание воле Отца искупило непослушание человека, который изначально нарушил и продолжает нарушать Его волю. «Вся тварь, – говорит св. Павел, – совокупно стонает и мучится доныне», ожидая того часа, когда искупительные дела Христа восстановят подобающие отношения между Богом и Его творением. Но искупительное деяние Христа само по себе не исправило всего, что было нарушено; оно лишь сделало дело искупления возможным, положило начало нашему искуплению. Подобно тому, как все люди разделяют непослушание Адама, так все люди должны разделить и послушание Христа воле Отца. Искупление будет завершено лишь тогда, когда все люди разделят Его послушание. Итак, мир не изменился в одночасье, и это он, тот мир, где мы стремимся подражать примеру Христа, причиняет нам боль, как причинял боль Ему. Не Отец, не Бог причиняет нам страдания, но тот еще не

избавленный мир, в котором мы должны трудиться, творя Его волю, и в искуплении которого должны участвовать.

На уральских лесозаготовках польские и еврейские беженцы, с которыми я работал, впервые упрекнули меня за мой образ жизни, за мой добросовестный подход к работе. «Чего ради ты трудишься? – спрашивали они. – Что ты пытаешься этим доказать?» Я знал, что они не могут понять, почему я так усердно работаю, зачем мне страдать от голода и лишений, трудясь весь день напролет в полузамерзшей реке или в засыпанном снегом лесу, часами стоять в очереди, чтобы получить лишний кусок хлеба, не спать ночами, мириться с жалким жильем и лохмотьями вместо одежды. Им были непонятны мои разговоры об апостольстве, о том, что я занимаюсь этим просто для того, чтобы быть с ними, потому что Бог призвал меня помогать им. Но именно в этом заключалась истина. С чисто человеческой точки зрения мое пребывание в Советском Союзе можно было бы счесть самым глупым и бессмысленным делом моей жизни. Но я видел в этих лишениях, в этой бесцветной действительности неотъемлемую часть своего апостольства. Я не мог отделить эту земную реальность от воли Божией, потому что каждый из нас должен творить волю Божию именно здесь, на земле.

Духовная боль и страдание, даже больше, чем физические, усилились в те пять лет, когда меня подвергали допросам. Бывали времена, когда я едва не переставал видеть смысл в этих муках неверия в свои силы, в боли, которую я ощущал, когда у меня возникало искушение поверить, что Бог оставил меня. Позже, в лагерях, мне вновь стало легче видеть все боли и мучения, все страдания, несовершенства и разочарования в свете своего апостольства. Именно тогда я смог задуматься над тем, сколь пусты мои попытки спасения душ, если я не связываю их с волей Божией. Мысль о том, что дела, которые сами по себе ничего не стоят, могут быть искупительными, могут содействовать распространению Царствия Его на земле, если совершаются из послушания Его воле, и что такие дела могут быть даже источником благодати для других,

могут стать частью дела Христа, заслужившего благодать для всех, – давала мне непреходящую радость и побуждала меня все усерднее стремиться к совершенному единству с Богом и Его волей.

Та простая истина, что единственная цель человеческой жизни на земле – есть исполнение воли Божией, столь глубока и исполнена смысла, что размышлять о ней можно всю жизнь. Но когда человек начинает жить, отводя этой истине первое место в своих мыслях, видя всякий день и всякое дело в свете этой истины, она становится не только источником вечного спасения; она становится источником радости и счастья здесь, на земле. Мысль о том, что человеческая воля в единстве с волей Божией может участвовать в Христовом деле искупления всего человечества, потрясает. Чудо Божественной благодати, претворяющей ничтожные человеческие дела в плодотворное средство распространения Царства Божия здесь, на земле, изумляет человеческий и разум и смиряет его предельно и в то же время приносит небывалый покой и радость тем, кто никогда не переживал ничего подобного прежде, – покой и радость, которые не описать тем, кто не верит.

В этом тонком прозрении души, затронутой Божественной силой, и кроется источник подлинной внутренней радости. И пока это видение пребывает с человеком, пока он не теряет из виду эту великую истину, внутренняя радость и покой, из нее проистекающие, не покидают его даже в миг самых горьких и тяжелых страданий и испытаний. Это не отменяет существования боли и страданий; физические и душевные страдания не покидают сознания человека. Но даже они становятся источником, питающим эту внутреннюю радость, укрепляющим покой и единство с Божией волей, ибо теперь они предстают как продолжение Страстей Христовых – не уродливой, бессмысленной кровавой резни, при мысли о которой я содрогался в отрочестве, но исполненных смысла, искупительных, целительных деяний, примиряющих мир с волей Отца. Подобное страдание может приносить с собой лишь глубокую духовную радость, ибо из него проистекает искупление и спасение,

окончательное торжество над грехом, дальнейшим страданием и даже самой смертью. Непослушанием одного человека, говорит св. Павел, грех вошел в мир, а грехом – смерть. И только послушанием человека, его единством с волей Божией, грех будет устранен, а тем самым уничтожатся страдания и смерть.

Как бы ни было согласие с волей Божией утешительно для души, какой бы покой и радость ни приносило, его нельзя обрести, просто попросив. Кроме того, по моему мнению, правильного понимания боли и страдания нельзя достичь вне понимания спасения и вне контекста призвания и апостольства. Как бы то ни было, лично я обрел его только посредством непрестанного обращения к молитве, посредством стремления всегда жить перед Богом и видеть во всем проявление Его Божественной воли. Не всегда это было легко и не всегда мне это удавалось. Ни в пору тяжелых испытаний на Урале, ни в годы мучений на Лубянке, ни во времена лишений и страданий в лагерях принудительных работ моя внутренняя душевная борьба никогда не прекращалась. Какую бы близость к Богу ни ощущала душа, как бы ни было велико порой ее блаженство от осознания Его присутствия, реальная действительность всегда была тут как тут, неизменно требуя признания, постоянно требуя приятия. Мне нужно было непрерывно учиться приятию воли Божией – не такой, какой я желал бы, не такой, какой она могла бы быть, – но такой, какой она в действительности была в данный миг. И именно в этой борьбе совершалось мое духовное возрастание, и в ней я учился по-настоящему ценить волю Божию.

Конечно, были и сомнения. Однажды я был даже близок к отчаянию. И тогда не разум поддерживал меня, но вера. Только вера позволяла мне видеть присутствие Божие в любом обстоятельстве реальной жизни; только вера позволяла мне постигать тайну Его спасительной благодати, никоим образом не ставя ее под сомнение, но содействуя ей именно так, как желал Он. Именно тогда – пусть в разной мере и с переменным успехом – мне удавалось узреть Его Промысел, правящий всем миром, и эти видения рассеивали страхи

и сомнения, которые непрестанно теснились где-то в глубине моего сознания. Так, путем проб и ошибок, я осознал, что, если я хочу сохранить радость и внутренний покой, я должен непрестанно прибегать к молитве, видеть все глазами веры, обращаться к смирению, которое может показать мне, как незначительны мои собственные усилия и как сильно я завишу от благодати Божией даже в молитве и в самой вере.

Ничто из этого не давалось легко, ибо я не был бесплотным духом. Меня мог отвлечь голод, меня мог смутить допрос; тело, в котором был каждый сустав, изможденное долгим арктическим днем изнурительной работы, могло довести меня до полного изнеможения и повергнуть в немалое уныние. Гораздо легче понимать искупительную роль боли и страдания в Божием замысле, когда сам не испытываешь боли и страданий. Однако лишь в борьбе с подобными чувствами совершалось мое возрастание. Каждая победа над унынием придавала мне духовного мужества; с каждой удачной попыткой – пусть мимолетной – видеть во всем десницу Божию мне становилось легче снова ощутить, что каждый очередной день бессмысленного на первый взгляд труда, лишений и страданий имеет у Бога свое предназначение.

День за днем я учился постигать в какой-то мере Божественное могущество, явленное в тайне страстей. Боль и страдания Страстей Господних представляли собой ту жертву, которая была необходима для спасения душ. Подобную жертву должны принести и все, кто призван к апостольству. И все же это страдание и жертва были окрашены глубокой духовной радостью, потому что позволяли увидеть, как в жизни, которая во всем остальном приносит лишь разочарования, творится воля Божия и совершается великое дело спасения. Если человек смотрит на жертву и страдание только глазами разума, то он будет стремиться избегать их, насколько возможно, ибо в боли как таковой нет ничего приятного. Но если человеку удастся научиться видеть роль боли и страдания в Божественном замысле искупления всей вселенной и каждой

отдельной души, его отношение к ним может стать иным. Он не станет избегать боли, когда она придет к нему, но будет нести ее в меру дарованной ему благодати. Он будет видеть в ней облечение во Христа в подлинном смысле этого слова. Из этого прозрения исходит радость и умножение надежды; из него произрастает также и сострадание к другим и надежда, что и им тоже можно помочь осознать подлинный смысл жизни и ее испытаний, ее радостей и страданий. Горящая этим воодушевлением, душа непрестанно жаждала возвещать чудеса Божией благодати каждому встречному. Это стремление, это рвение не знало границ, не имело никаких пределов. И хотя плоды этого рвения в действительности превосходили то, чего можно добиться человеческими усилиями, душа, воспламененная этим разумением, обращала мало внимания на конкретные результаты. Главным было не дать угаснуть этому огню рвения. Отсюда проистекала непрестанная потребность в каждодневной молитве, непрестанное стремление видеть в боли и страданиях каждого дня подлинное дело искупления, подлинное участие в спасительных деяниях Христа.

Препятствия, возникающие каждый день, трудности, мешающие воплотить это рвение на деле не смущали душу, воспламененную этим разумением. Ибо подлинное обращение людей требовало многих молитв, непоколебимого доверия к Богу, многих испытаний и жертв. Преданная своему делу душа, пребывая в непрестанном общении с Богом, инстинктивно понимала, что в глазах Отца самое главное полностью довериться в своем апостольстве Его воле. На что бы Он ни вдохновил ее, чтобы ни повелел, это становилось самым важным – а не человеческое усердие, не премудрость и не труд по собственному почину.

Мысли эти почти вошли у меня в обыкновение, и размышляя об этом в нескончаемые дни изнурительного труда в лагерях Сибири, я осознавал, что перед Богом я обязан не жалея сил совершать свой ежедневный круг молитвы, труда и страдания так добросовестно, как только могу, подавая пример другим заключенным, словом и делом

помогая им увидеть, что даже самое жалкое существование посреди ледяной пустоши может быть плодотворным, содействуя распространению Царствия Божия на земле. Бог не теряет из виду ни одну человеческую жизнь, никакое человеческое страдание. Ибо каждый из нас сотворен для того, чтобы хвалить Господа Бога своего, почитать Его и служить Ему, и чрез то спасти свою душу и содействовать спасению душ других людей. Всякое дело, пусть даже самое незначительное, если принимать и исполнять его как исходящее из рук Божиих, и быть послушным при этом воле Божией, становится делом искупления и частью великого дела спасения, которому положили начало страсти Христовы.

Размышление об этих истинах не только утешало меня. Оно открывало мне совершенно новое видение Сибири, а также окружавшей меня боли и страданий. Мне казалось, я вижу, что из сломанных и разбитых судеб вокруг меня готова восстать целая новая Церковь – только бы хватило работников в винограднике. Здесь рождалась Церковь мужчин и женщин, преисполненных духа жертвенности и верности. Церковь, рождающаяся из поколения гонимых и сокрушенных, испытанная, как золото в горниле. Церковь новых пастырей, уцелевших в этих лагерях и живущих в воинствующем атеистическом государстве и все-таки сознающих, насколько всецело все зависит от одного лишь Бога, не имеющих, быть может, возможности служить Ему открыто и все же входящих в единое мистическое Тело Христово, называемое Церковью. Возможно, это и есть тот самый спасительный остаток, о котором говорит Исайя. Народ, принявший гонения с радостью, способен увидеть в своих собственных испытаниях и страданиях подлинно христианское дело искупления мира, в котором он живет, способен понять, что страдая, становится закваской в тесте. Ибо «кто уразумел дух Господа, и был советником у Него? Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших». Возможно, в замысле Божиим плодом всех этих страданий станет нечто новое и драгоценное в

мистическом Телѣ: ревностные христиане, которые дадут Церкви, присутствующей в мире как человеческое установление, новый идеал самоотверженности. В замысле Божиѣм эта гонимая Церковь, эти страждущие христиане непрестанно обогащают земную Церковь, мистическое Тѣло Христа.

Глава тринадцатая

Значение мессы

Иногда я думаю, что те, кто никогда не лишался возможности служить Мессе или присутствовать на ней, не понимают до конца, какое сокровище являет собой Месса. Во всяком случае, я знаю, какое значение она приобрела для меня и для других священников, встреченных мною в Советском Союзе; я знаю, какие жертвы мы приносили и чем рисковали, лишь бы совершать Мессу или присутствовать на ней. В лагерях, где царил непрестанный голод, где пищи, которую нам давали, едва хватало, чтобы не умереть, я видел, как священники отказываются от завтрака и до полудня трудятся на тяжелых работах с пустым желудком, чтобы соблюсти пост перед Евхаристией, потому что полуденный перерыв на рабочем участке был самым удобным временем, чтобы собраться и втайне отслужить Мессу. Нередко я и сам поступал так же. А иногда, когда надзиратели слишком пристально следили за нами, и мы не рисковали служить Мессу на рабочем участке, хлебные корки, положенные мною в карман во время завтрака, оставались там нетронутыми до моего возвращения в лагерь, где я мог совершить Мессу вечером. А в долгое заполярное лето, когда рабочие дни тянутся дольше всего, а времени на сон отводится совсем мало, я видел, как священники лишают свое тело столь необходимого ему сна, чтобы встать до сигнала к подъему и втайне отслужить Мессу в тишине барака, в то время как все остальные дорожили каждой лишней минутой бесценного сна. В том, что касалось богослужений, наша жизнь была в некотором смысле катакомбной. Нас сурово наказывали, если заставляли во время Мессы, а стукачи всегда были тут как тут. Но для нас Месса всегда стоила этого риска и жертвы; мы дорожили ею, мы ждали ее, мы готовы были почти на все, лишь бы служить или слушать ее.

Когда я был в Риме, в Русской коллегии, и мечтал, чтобы мне представился случай попасть в Советский Союз, я часто задавался вопросом, что я буду делать, если не смогу служить Мессе. В студенчестве мы иногда говорили об этом. Наверно, на эти беседы вдохновлял нас Рим с его катакомбами. Но наши рассуждения, конечно же, были немного романтическими. В нашей жизни – как в Руссикуме, так и в семинарии, а также в любом из наших иезуитских домов – ни дня не проходило без Мессы; мы готовились стать священниками, которые будут служить Мессе как восточного, так и латинского обряда. Для нас как для будущих священников Месса имела особое значение, но я полагаю, не было бы ошибкой сказать, что мы все еще в некотором смысле воспринимали ее как должное. Не то чтобы она превратилась просто в один из религиозных обрядов: во всяком случае, для меня Месса всегда имела особое значение как время особенной близости с Господом нашим, которое даруется мне каждый день. Но посещать Мессу каждый день было так просто. Она всегда была здесь, она была частью нашего распорядка дня, и мысль о том, что когда-нибудь, быть может, служить Мессе станет не так легко, была, в сущности, лишь фантазией. Мы говорили об этом, читали об этом в исторических книгах о гонениях на Церковь, но нам никогда не приходилось пережить это на собственном опыте. Помню, какое глубокое волнение вызвала у меня моя первая Месса в день после рукоположения, честь собственными руками совершить тайное возобновление Голгофы; помню свою радость при мысли, что я избран из числа людей, дабы служить им в делах Божиих, и могу наконец исполнить повеление, данное Христом Своим ученикам во время Тайной вечери: «Сие творите в Мое воспоминание». Со дня рукоположения ни в безмятежные годы в Альбертыне, ни в дни суматохи и хаоса после того, как Советский Союз захватил Польшу, не было ни дня, который бы не начинался для меня с жертвоприношения Мессы.

И лишь когда мы с отцом Виктором пустились в долгий путь из Львова на уральские лесозаготовки, наши фантазии о невозможности совершать Мессу стали реальностью. Только тогда я впервые испытал подлинное чувство утраты от невозможности начинать день с Евхаристии. Мы взяли с собой хлеб и вино и небольшой набор для литургии с потиром и миссалом, чтобы совершать Мессу. Но никто в товарном вагоне, полном рабочих, не знал, что мы священники, и в тесноте вагона служить Мессу было слишком трудно. Мы делали, что могли. При каждой возможности, в особенности на стоянках, когда мы покидали вагон, чтобы размять ноги и добыть продовольствие, мы не упускали случая вместе совершить Евхаристию. Когда же мы добрались на лесозаготовки, то в бараках, в примитивных, грубых условиях лагеря служить Мессу оказалось столь же трудно. Мы не осмеливались себя разоблачать; мы не знали, как нас примут в качестве священников и, по крайней мере поначалу, служили Мессу только наедине друг с другом. Если мы ждали момента, когда мы сможем уединиться в укромном уголке барака в вечернее время, то нам приходилось поститься весь день и все равно выполнять полный дневной объем работ в лесозаготовительных бригадах. Но по утрам, когда все собирались на работу, в бараках царила сумятица, и трудно было в такой обстановке найти время, чтобы должным образом сосредоточиться перед Мессой и совершить ее так, как мы того желали. Поэтому нам не удавалось служить Мессу ежедневно, но у нас всегда был запас освященных гостий, чтобы можно было, по крайней мере, каждый день причащаться.

Опасность и трудность совершения Мессы стала для нас действительностью на лесозаготовках Урала. Тогда мы стали делать то, что, наверное, следовало делать и прежде: мы начали учиться служить Мессу по памяти. Мы боялись потерять свой набор для литургии, потир или миссал, но мы твердо решили, что, пока у нас есть хлеб и вино, мы будем стараться служить Мессу любым путём. Вновь и вновь по вечерам, пока другие болтали, читали или играли в

карты, мы повторяли друг перед другом все молитвы Мессы, пока не выучили их наизусть. Как часто я благодарил Бога в последующие годы за эту интерлюдия на лесозаготовках Урала, и за эти тренировки, и за дарованную мне благодать приготовиться к предстоящим годам.

По прошествии нескольких месяцев, когда мы с отцом Виктором несколько привыкли к барачному образу жизни, мы стали находить все больше возможностей отправлять Мессу. Так, иногда мы вместе уходили в лес и служили Мессу на пне. Я невольно думал о том, как сильно лес порой напоминает собор: высокие ряды стройных деревьев, смыкающихся над головой, словно свод, величавая тишина, красота окружающей нас природы, тихая белизна снега. Казалось, само время замирало в неподвижности, когда мы возносили вечную жертву креста, сопровождая ее множеством интенций, заполнявших наши мысли и сердца, не последней из которых была мысль о тысячах обделенных подпольной Церкви в этой некогда христианской стране, которой мы, тайные священники, пришли служить.

Бывало, мы с отцом Виктором служили Мессу сидя на кроватях друг напротив друга. Произнося молитвы Мессы, мы делали вид, что читаем или тихонько разговариваем. В бараке мы не могли пользоваться потиром, поэтому чашу нам заменял обычный стакан, а гостию – кусочек квасного хлеба. Если люди подходили поболтать с нами, мы старались прервать беседу как можно любезнее и быстрее, чтобы вновь сосредоточиться и продолжить свою тайную Евхаристию. Я работал на улице в лесозаготовительных бригадах, но отец Виктор работал бухгалтером в леспромхозовской конторе, поэтому он всегда хранил Святые Дары, завернутые в покроец для очищения потира, в бумажнике, в кармане своего пальто. Это позволяло нам, по меньшей мере, ежедневно принимать причастие, если Месса была невозможна. Позже, когда мы подружились с уборщицей, которая убирала в нашем бараке, мы иногда оставляли Святые Дары, надежно упрятанные в сверток одежды, в ее

маленькой подсобке, служившей ей также жилой комнатой. Она была, как оказалось, католичка и во многом нас выручала. Хранить Святые Дары в своей комнате и знать, что Господь, которому она служит, обитает под ее кровом, было для нее величайшей радостью.

Я знаю, что всего этого не объяснить тем, кто не верит. Боюсь, что и для многих христиан понятие о Святых Дарах как о хлебе жизни в некотором смысле – только поэтическая или символическая фраза, которую Иисус произносит в Евангелии. И все же каким мощным источником поддержки они были для нас в то время! Как много значило для нас питать свой дух Телом и Кровью Христа в этом таинстве радости и любви! Переживание это было очень реальным; мы ощущали его воздействие на наш разум и сердце, на нашу повседневную жизнь. Нам это было так же необходимо для поддержания жизни души, как хлеб необходим для поддержания жизни тела. Здесь, на Урале, было так много изгнанников, которые были лишены этого и, казалось, были к этому безразличны. Я не сомневаюсь, что Бог по-своему заботился об этих духовно изголодавшихся людях, так же, как особым образом заботился о нас. Кто из нас уразумел в полной мере пути Господни? Но для нас этот хлеб жизни, эта Евхаристия, была подлинным источником общения с Ним и с теми, кому мы жаждали Его принести.

Пять долгих лет на Лубянке вернули меня к невозможности совершать Мессу, и теперь ситуация была еще более безжалостна, чем прежде. Я был лишен этой духовной пищи и подлинности этого общения. Я соединялся с Богом в молитве, часто, по много раз в день, общался с ним духовно, но в буквальном смысле жаждал вновь принять Его в Евхаристии. Каждый день я по памяти читал молитвы Мессы, и иногда, я думаю, эти молитвы только усиливали чувство тоски по Евхаристии. В те дни, исполненные страданий и напряжения, тьмы и унижения, я знал, как отчаянно нуждаюсь в том источнике силы, каким мог бы стать для меня хлеб жизни, – и был лишен его. Я молился Богу, я говорил с Ним, просил у Него помощи и силы, знал, что Он со мной. Все это у меня было, и все же я не мог

держат Его в руках, не мог пережить в таинстве Его присутствие. И эта разница была для меня очень ощутима. Это был голод души, который я переживал так же реально, как и телесный голод, который непрестанно испытывал все эти годы. В последующие годы я часто задавался вопросом, смог ли бы я пасть так низко, подойти так близко к отчаянию, если бы этот хлеб жизни был мне так или иначе доступен.

Когда я попал в сибирские лагеря, то, к моей великой радости, оказалось, что я снова могу ежедневно служить Мессе. В любом лагере как священники, так и заключенные ни перед чем не останавливались, охотно шли на любой риск, лишь бы обрести утешение этого таинства. Для тех, кто не мог попасть на Мессу, мы ежедневно освящали гостию и заботились о том, чтобы причастие раздали всем желающим. Разумеется, в бараках служить Мессе было опаснее из-за невозможности уединения и присутствия осведомителей. Поэтому чаще всего мы совершали ежедневные богослужения где-нибудь на работе во время полуденного перерыва. Несмотря на дополнительные лишения, все соблюдали строгий пост перед Евхаристией с предыдущего вечера, отказываясь от завтрака и все утро работая на голодный желудок. И все же никто не жаловался. Заключенные небольшими группами приходили в назначенное место, и священник – в своей рабочей одежде, невымытый, нечесанный, укутанный, чтобы было не так холодно, – совершал Мессу. Мы служили Мессе в продуваемых всеми ветрами складских помещениях или толпились в грязи и слякоти в углу подвала строящегося здания. Глубокая набожность священников и заключенных заменяла нам все: у нас не было ни алтарей, ни свечей, ни колоколов, ни цветов, ни музыки, ни белоснежного льна, ни витражей, ни даже тепла, которое может дать людям даже самая бедная приходская церковь. И все же в этих примитивных условиях Месса давала нам такую близость к Богу, что это едва ли можно себе представить. Осознание того, что происходит на доске, ящике или камне, которые мы использовали вместо алтаря, глубоко проникало

в нашу душу. Отвлекавший нас страх разоблачения, сопровождавший каждую Мессу, ничуть не умалял того воздействия, которое крошечный кусочек хлеба и капля освященного вина оказывали на нашу душу.

Много раз, когда я складывал платок, на котором мгновение назад лежало Тело нашего Господа, и протирал стакан, служивший потиром, меня охватывало очень сильное чувство, что я совершил нечто чрезвычайно ценное для людей этой безбожной страны. От одной мысли о том, что здесь, в этом месте, я совершил Мессу, мое путешествие в Советский Союз и все перенесенные страдания начинали казаться осмысленными и необходимыми. Ни один источник вдохновения не мог так углубить мою веру, придать мне столько духовного мужества, как честь служить Мессу для этих, самых нищих, самых обделенных, членов Тела Христова и паствы доброго Пастыря. Иногда меня на миг охватывало волнение, когда я думал о том, как Он нашел способ последовать за этими потерянными и заблудшими овцами в эту самую заброшенную страну и питать их здесь. Поэтому я не позволял себе провести ни дня, не совершив Мессу; это было главной заботой каждого моего нового дня. Я был готов пойти на все, претерпеть любые неудобства, подвергнуть себя любой опасности, чтобы сделать хлеб жизни доступным этим людям.

Хлеб и вино для Мессы тайно поставляли нам люди близлежащих заполярных городов, но в эти города их в основном привозили с Украины. В сибирских магазинах нельзя было купить церковное вино, поскольку все вина, которые там продавались, содержали примеси. Однако люди, которые сами были в лагерях, выжили и вернулись на Украину, посылали своим друзьям в городах близ лагерей маленькие, примерно в четыре кварты, деревянные бочонки вина. Эти друзья, при помощи одного сочувственно настроенного водителя грузовика, который ввозил в огражденную и охраняемую лагерную зону строительные материалы, контрабандно поставляли вино одному из заключенных священников. В сущности, в лагерь

постоянно поступали контрабандные товары. Свободные люди из соседних городов, которые жалели заключенных, присылали водку и еду, так что к нам регулярно поступало не только церковное вино. Ночной смене, как правило, было легче утаить контрабандный товар, поскольку ночные надзиратели зачастую были не так строги, как дневные; по ночам работали лишь неполные бригады техобслуживания, поэтому надсмотрщиков было меньше, и надзор был куда менее строгим.

Украинские, польские и литовские священники, которых еще не арестовали или уже выпустили из лагерей и отпустили домой, считали своим долгом помогать своим товарищам-священникам, отбывающим срок в лагерях. Сестры-монахини тоже творили чудеса, помогая пребывающим в заключении священникам. По лагерным правилам заключенный имел право писать ближайшим родственникам дважды в год. Иногда, с разрешения начальника охраны, заключенным разрешалось также получать посылки; обычно разрешалось получать не более двух посылок в год. Поэтому священники-заключенные сообщали родственникам о своем местонахождении и намекали в письмах, чтобы те рассказали священникам в их родном городе о них и о других священниках, попавших в лагеря. Однако, поскольку священники на Украине и в оккупированных государствах находились под пристальным наблюдением, в основном именно монахини заботились о нуждах ссыльных и заключенных священнослужителей. Многим из них, когда их обители закрывались, удавалось получить работу в местных больницах, и именно они поставляли священникам в лагеря церковный хлеб, вино и богослужебные книги. Страницы этих книг вперемешку с газетами использовались как упаковочный материал. В другие страницы миссала заворачивался церковный хлеб. Охранники не обращали внимания на этот «мусор» в посылках, но некоторые страницы неизбежно терялись или попадали в мусорное ведро. Поэтому заключенных, работавших уборщиками в лагерных конторах, предупреждали, чтобы они искали и берегли эти

выброшенные страницы, дабы их не сожгли. За обещанную им часть посылки голодные заключенные, христиане и не христиане, всегда охотно соглашались оказать нам эту услугу, тем самым заодно перехитрив лагерное руководство.

Вино представляло собой несколько иную проблему, но сестры, как я уже сказал, посылали вино определенным людям в соседних городах. Затем, разными способами и при посредстве разных людей небольшие порции вина контрабандно провозились в лагерь. Даже рискуя быть пойманными и наказанными, верующие заключенные охотно помогали нам хранить запасы хлеба и вина в разных точках лагеря. В результате каждый священник в лагере имел все необходимое, чтобы ежедневно служить Мессе. Если ему что-то требовалось, достаточно было просто попросить, и ему тут же давали все необходимое, если это вообще было возможно. Таким образом, даже в зачастую невыносимых условиях лагерей любой священник, который давал знать, что хочет совершить Мессу, имел такую возможность. И мы служили.

Однако внутри лагеря Мессу можно было служить, лишь приняв строжайшие меры предосторожности. По бараку без конца бродили заключенные; в каждой бригаде всегда имелись стукачи. Ходить в чужие бараки строго запрещалось, и как только кто-то замечал, что в бараке чужой, его тут же выгоняли. И подобную строгость выказывали не только надзиратели. Сами заключенные проявляли осторожность, потому что бывалые воры постоянно искали случая что-нибудь украсть – что-нибудь, что было лучше, чем у них. Если же мы собирались на улице, надзиратели настораживались: такие небольшие сборища вызвали у них подозрения, и они тут же приказывали всем разойтись по баракам.

Служить Мессу в лагерных бараках было трудно и опасно, и мы шли на это лишь в редких случаях или в ситуациях крайней необходимости. Нам приходилось толпиться в каком-нибудь темном углу, в то время как наши друзья-заключенные караулили в коридоре, чтобы в случае чего предупредить о приближении

надзирателей. По их сигналу мы торопливо съедали освященный хлеб, выпивали вино и быстро расходились. Лишь однажды меня все-таки поймали. Трое надзирателей, несомненно, по наводке стукачей, неожиданно объявились в том углу барака, где я и несколько моих товарищей служили Мессу, и направились прямо к нам. Они заставили нас встать, отойти и стоять в стороне, пока они производили обыск. Они кидали частицы освященного хлеба на пол и под лежаки, где было полно всякого мусора. Освященное вино осталось, однако, нетронутым, потому что помимо жестянки, служившей нам потиром, на табуретке, которую мы использовали как алтарь, стояло еще несколько жестянок. В лагерях каждый священник рано или поздно попадал в подобную ситуацию. Это было, мягко говоря, неприятно, и страх разоблачения и святотатства вызывал у нас тревогу во время каждой Мессы.

Поэтому в основном мы предпочитали служить Мессу где-то на рабочей площадке, хотя это и означало, что мы должны все утро поститься и потом жертвовать теми немногими минутами отдыха, которые выделялись заключенным, чтобы они могли перекусить. Но даже в таких случаях мы не могли приглашать на Мессу много народу, чтобы ежедневные скопления людей в одном и том же месте не привлекли внимания к нашим мероприятиям. Обычно мы избирали склад или угол подвала строящегося здания подальше от того места, где мы в тот момент работали – иногда дорога до склада или здания, где проводилась Месса, занимала пятнадцать минут или больше, – и нужно было начинать вовремя, чтобы потом не опоздать на работу. Все это не позволяло присутствовать на Мессе большому количеству людей, и мы освящали побольше хлеба, чтобы потом, когда будет возможно, раздать причастие другим заключенным. Иногда мы видели этих заключенных только вечером, перед ужином, когда возвращались в бараки. И все же эти люди постились весь день и занимались тяжелым, изнурительным трудом без единой крохи во рту с предыдущего вечера, только для того, чтобы принять

Евхаристию: так много значило для них это таинство в этом во всех других отношениях забытом Богом месте.

В наши редкие выходные, когда всем заключенным разрешалось отдыхать в лагере, служить Мессу было труднее всего. Однако в такие дни было проще всего совершать Мессу сразу для большого количества людей, если нам удавалось под тем или иным предлогом собраться в лагерном дворе, и иногда мы шли на подобный риск, в особенности, если выходной совпадал с каким-нибудь важным религиозным праздником. Но обычно в такие дни я служил Мессу рано утром, полулежа на лежаке, пока большинство заключенных все еще спали. Вино я доставал с вечера в лагерной санчасти или в бане, где мои друзья, работавшие там, прятали вино для священников. Я держал хлеб в руках, завернутый в кусочек белой ткани, лежа на лежаке, и читал молитвы Мессы по памяти. Ко времени подъема я заканчивал богослужение и мог раздать причастие другим, что было незаметно в общей сутолоке и беспорядочном движении, которое всегда царило здесь после сигнала к подъему. Снова и снова меня поражала набожность этих людей. Большинство из них не имело почти никакой религиозной подготовки; в основном они мало что знали о религии, кроме молитв и верований, которым научили их благочестивые родители или бабушки с дедушками. И все же они верили и были готовы на неслыханные жертвы ради утешения Мессы и Евхаристии.

Заключенные-христиане в основном с большим уважением относились к находящимся в лагере священникам. Большую часть своего свободного времени они стремились проводить в их обществе. Даже те, кто не очень активно практиковал свою религию, часто предпочитали проводить время среди людей, собиравшихся вокруг священника. Они защищали, поддерживали и ободряли священника, как могли. В некотором смысле они считали это своей обязанностью. Время от времени они даже делились с ним своим и без того скудным хлебным пайком, чтобы ему досталось побольше. Они говорили, что хотят принести подобную жертву в его пользу,

чтобы выразить свою веру в Бога и свою благодарность Ему за то, что Он послал им священника. Несомненно, это и было стократное воздаяние, которое Христос некогда обещал тем, кто ради Него оставит отца и мать, семью и землю. И в воздаянии этом не было ничего величественного. Поступки этих щедрых верующих были самыми обыкновенными; они просто постоянно помогали нам, чем могли. Но их жертвы, какими бы малыми они ни казались, были, в сущности, отказом от доли того, что позволяло им выжить.

А в сибирских лагерях желание выжить занимало главное место в мыслях каждого. Пережить все это и в конце концов увидеть свободу было тайной надеждой, которую лелеял каждый. Инстинкт жизни, выживания, особенно для тех, у кого была семья или любимые, кому было куда возвращаться, был сильнейший движущей силой каждый день, каждый час. Как остро ощущали эти люди каждый прожитый ими день! Каждый такой день на один день сокращал их срок, но он же на один день сокращал их жизнь. Никто не желал даже своему злейшему врагу несчастья умереть в этих лагерях вдалеке от всего, что человеку дорого. И все же каждый день – они знали – был еще одним шагом на медленном, долгом пути к смерти.

Мне была дарована честь нести хлеб жизни именно таким людям. «Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, – сказал Христос ученикам, – то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пьющий Мою Кровь имеет жизнь вечную». Эти люди с их простой, непосредственной верой постигали эту истину и верили в нее. Они не могли объяснить ее, как объяснил бы теолог, но они принимали ее, жили ею и были готовы идти на добровольные жертвы, даже тогда, когда и без того были лишены почти всего, чтобы только получить этот хлеб жизни. Месса и Евхаристия были для меня источником великого утешения; они были для меня источником силы и радости и духовной поддержки. Но когда я осознал, что значит Евхаристия для этих людей, на какие жертвы они готовы идти ради нее, я почувствовал воодушевление, гордость

и великое стремление дать им возможность получать этот хлеб жизни так часто, как они того пожелают. Никакая опасность, никакой риск, никакое наказание не могли помешать мне каждый день служить для них Мессу. «Сие творите в Мое воспоминание». Во многих отношениях жизнь в лагере была для этих людей ежедневной Голгофой; и не было ничего, на что бы я не пошел, дабы ежедневно, в Мессе, вновь и вновь возносить за этих людей жертву Голгофы.

Глава четырнадцатая

Духовные упражнения

Жизнь в лагерях представляла собой бесконечную и беспощадную череду будней. Не было в ней ни развлечений, ни праздников, ни каникул, ни каких-либо мероприятий для заключенных. Наш день – каждый день – был заполнен работой, и день сменялся днем с тяжелым, занудным постоянством, отличаясь от всех других дней только погодой и видом работ. Бывали дни, когда заключенный мог гордиться тем, чего он достиг в тот день, пусть даже это было просто удовлетворение от выполненной нормы. Человеку нужно что-то, какое-то чувство достигнутого, чтобы поддерживать в нем ощущение человеческого достоинства, ценности и значимости его личности. Иногда, в суровых условиях лагеря, заключенный мог находить это чувство удовлетворения только в осознании того, что он – как личность – смог выжить в этой системе еще один день.

Рабочие дни в долгих арктических сумерках казались бесконечными и следовали друг за другом, казалось, непрерывной, нескончаемой чередой. Работа была тяжела, условия суровы, и так было задумано. Труд был расплатой заключенного за преступления против государства. Пищи, которую ему давали, едва хватало, чтобы не позволить ему умереть, чтобы дать ему силы для дальнейшей работы, и он работал каждый день почти до полного изнеможения. Тем самым вечно голодные, всегда усталые заключенные держались в подчинении и почти и не думали о бунте или побеге. По месяцу или больше тюремные власти заставляли нас работать без единого выходного. Удар железного гонга в пять утра, возвещающий подъем, организованный поход на рабочее место, двенадцать-четырнадцать часов работы, организованное возвращение в лагерь, скудный ужин из баланды и каши, всегда один и тот же, и падение без сил на дощатый лежак в бараке – таков был распорядок дня заключенного

– дня, вяло перетекающего в другой, точно такой же день. Тюремное руководство установило такой режим, чтобы занять заключенных до предела и тем самым держать их в подчинении, но им также нужно было выполнить определенный объем работы, установленный Москвой, и таким образом заслужить похвалу вышестоящих властей, которой они так старательно добивались. Заключенным ничего не оставалось, как подчиняться навязанной им системе: одному и тому же распорядку дня год за годом, пока это не превращалось в привычку, нудную повседневность без конца и края и без всяких надежд, кроме одной – выжить.

Тело способно приспособиться к таким условиям, но разум – никогда. Лишенный возможности читать и даже подолгу вести беседы, каждый человек оставался наедине с собственными мыслями об утраченной свободе, о своей нынешней жизни и искал во всем этом какого-то смысла. Зато заключенных без конца донимали пропагандой на тему ценности труда, их обязанности участвовать в строительстве социалистического общества, которому они нанесли ущерб своими преступлениями, необходимости еще более значительной жертвы, еще больших усилий, еще более высоких целей, еще более усердного труда. Несмотря на все свое постоянство, подобные увещевания не производили на заключенных ровно никакого впечатления. Настойчивость, беспощадная настырность этой пропаганды превращала ее просто в еще одну форму непрерывного насилия. Заключенные это понимали, ворчали, и не обращали на пропаганду никакого внимания. Они терпеливо сносили ее, как и все остальное, желая только одного: выжить и увидеть наконец свободу. И все же, говорили заключенные, даже конец лагерей не означает конец партийных установок или свободу от принуждения работать все усерднее на строительстве нового порядка, нового социалистического мира. От этого некуда было скрыться. Человек нигде не мог спокойно жить и трудиться и существовать так, как ему хочется.

Чтобы выжить в подобных обстоятельствах, человеку мало было пищи и даже интеллектуальной поддержки. Ему необходимы были духовные силы. Поэтому в каждом лагере я по мере возможности организовывал духовные упражнения. Я начинал со священников, которые охотно меня поддерживали. Безусловно, они яснее других сознавали необходимость сильного духа веры, углубленной духовной жизни. Кроме того, многие из них особенно остро ощущали эту потребность, потому что находились на грани уныния, а порой и отчаяния. Священники в лагерях подвергались особым нападениям со стороны властей, находились под постоянным надзором и всегда были под подозрением. Их непрестанно вызывали на допросы, за ними неусыпно следили осведомители, им угрожали, их переводили из барака в барак, чтобы помешать им оказать влияние на других заключенных. Эти бесконечные нападки не давали им никакой возможности совершать свое служение, и им легко было впасть в уныние.

Еще хуже были те сомнения, которые одолевали их в минуту усталости и уныния. Что может сделать горстка священников в этих лагерях, говорили они, и как могут отдельные священники, рассеянные по всему Советскому Союзу, бороться с атеизмом и пропагандой, направленной против Церкви и религии? Какова подлинная вероятность того, что Церковь выживет под гнетом этой системы, где людей без конца осаждают пропагандой, выставляющей религию как предрассудок, где исповедание веры активно не поощряется и всячески затрудняется посредством подспудного давления, где человек может потерять работу или возможность дать детям образование только потому, что известно, что он верующий, где детей высмеивают в школе, потому что их родители верят в Бога, или учат презирать религиозные обряды, которыми все еще дорожит старшее поколение и о которых говорят дома? Как может горстка священников – которых становится все меньше, потому что закрылись семинарии – надеяться добиться чего-то на фоне того могущества, каким обладает правительство и

его пропаганда? Как они могут принести хоть какую-то пользу, когда даже те, кто все еще верит или хочет верить в Бога, боятся к ним приходить, боятся быть застигнутыми в их обществе, опасаясь проблем на работе, осуждения и враждебности со стороны друзей и соседей или давления, которое множеством разных способов будут исподволь оказывать на них и на их семьи? С чисто человеческой точки зрения, их задача казалась невыполнимой, а будущее в лучшем случае неопределенным. Всего этого было более, чем достаточно, чтобы повергнуть в уныние, поэтому они радовались утешению общения с другим священником и с воодушевлением откликались на мысль о духовных упражнениях или однодневных реколлекциях.

Многие наши священники были людьми пожилыми и быстро утомлялись. Не привыкшие к тяжелой физической работе и непрестанно страдающие от нападков тюремных властей, они часто болели и нуждались в медицинской помощи. Но власти часто отказывали им даже в той ограниченной медицинской помощи, которую мог предоставить лагерь, потому что они были священниками. Их физическая слабость и болезни лишь усугубляли их чувство уныния и отчаяния, их страх за будущее Церкви и за самих себя. Жизнь в лагере лишила их всех внешних проявлений вероисповедания, которые были знакомы им на протяжении всей их долгой священнической жизни. Даже на Мессе от многих внешних действий, предписываемых Церковью, приходилось отказываться. Мессу служили сидя, иногда на ходу, иногда полулежа, потому что положенные внешние обрядовые действия только привлекли бы к нам внимание, и надзиратели мгновенно оказались бы тут как тут. Многим пожилым священникам, как бы они ни старались, было очень трудно жить в молитве и сохранять преданность вере без поддержки внешних форм религиозности, к которым они издавна привыкли.

Проводя духовные упражнения со священниками в лагерях, я мог руководить ими только по одному. Я следовал методам св. Игнатия,

поскольку был знаком с ними лучше всего, вызывая в памяти медитации и приспособлявая их к ситуации и обстоятельствам лагерей. Темы для размышлений давались утром, в шесть часов, перед уходом заключенных на работу. Чтобы представить эти темы должным образом, требовалось как минимум полчаса, но это было трудно, потому что в этот утренний час в лагере царит суматоха. Потоки заключенных устремляются из бараков во всех направлениях: в кухню, на склад, в сапожную мастерскую, в пекарню, в санчасть. Каждый озабочен чем-то важным, спешит отпроситься с работы у врача, добыть где-то лишний кусок хлеба, высмотреть какую-нибудь одежду, которую можно украсть, чтобы защититься от арктического холода, или проследить, чтобы у него самого чего-нибудь не украли. Лагерные надзиратели тоже носились как сумасшедшие из барака в барак, наблюдая за заключенными и крича на отбившихся, чтобы они немедленно вернулись в свой барак и приготовились к работе. Среди всего этого оживления мне необходимо было найти где-то спокойное место, чтобы остаться наедине со своим упражняющимся. Вечером после работы было уже гораздо проще встретиться и провести часок или больше с тем священником, с которым я в тот момент проводил упражнения.

В этих обстоятельствах духовные упражнения для священников, как правило, длились три дня, иногда пять, но никогда не продолжались намного дольше недели. Когда было возможно, я старался прибегать к помощи других священников. Иногда мы проводили индивидуальные духовные упражнения втроем, и упражняющиеся могли выбрать себе духовного руководителя. Что касается меня, то я концентрировался на основных размышлениях «Упражнений» св. Игнатия: «Начале и основании», «Размышлении о Царе Небесном», «Двух знаменах» и размышлениях о Страстях Христовых. Я чувствовал, что в этих обстоятельствах крайне важно постараться помочь им вновь осознать Божественный замысел спасения, вновь укрепить их доверие к Богу, утвердить их в решимости видеть Его волю в событиях каждого дня – даже тех

дней, которые в то время переживали мы – и делать все возможное, чтобы исполнять эту волю с полным упованием на Его Промысел и могущество.

Как священники, подчеркивал я, они решили откликнуться на призыв Христа особым образом, хотя это могло предполагать, что им также придется особым образом подражать Его страданиям во искупление мира. Они откликнулись на Его призыв трудиться вместе с Ним, страдать вместе с Ним и даже умереть вместе с Ним, дабы привести других в то Царство, которое Он пришел утвердить. И в первую очередь именно эти священники-заключенные призваны «пить чашу, которую Я буду пить», как Он сказал однажды Иоанну и Иакову. Они откликнулись на призыв и пообещали Ему, что готовы исполнить это, Христос же готов непрестанно помогать им Своей благодатью в исполнении той миссии, к которой Он их призвал.

Унылая жизнь, которую мы вели, условия, в которых мы пытались работать, легко могли склонить священника к тому, чтобы потерять это из виду, впасть в уныние, почувствовать свою беспомощность и бесполезность своего служения. Но чья жизнь легка? Наше представление о Царствии, призыв Христа трудиться и страдать вместе с Ним носят оттенок великого и благородного предприятия, и все же каждый из нас должен уметь перенести эти представления в нашу будничную, прозаичную повседневность – пусть даже это повседневность лагеря – и в любых условиях сохранить этот дух. Порой мы думаем, что нам было бы легко постоянно гореть этим рвением, если бы мы были Франциском Ксаверием или Ричардом Львиное Сердце, обращали бы «Индии» или в гуще сражения с мечом в руке взбирались по стенам Иерусалима, устремляясь навстречу великой победе. Мы забываем о том, что жизнь Франциска тоже состояла из отдельных дней, ему были знакомы разочарования и, возможно, уныние, и каждые сутки его жизни были также полны поражений и разочарований, как и побед, каждый час состоял из шестидесяти минут, заполненных будничными делами и маленькими людьми, занятыми и озабоченными множеством других

вещей, и так день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Странствуя и проповедуя Евангелие, как часто Ксаверий, должно быть, задавался вопросом, услышат ли его когда-нибудь миллионы окружающих его людей! Как часто, должно быть, его повергали в уныние ежедневно встречавшиеся ему люди, которые не откликались на его проповедь! Как часто, должно быть, его приводило в отчаяние то зло, каким был исполнен окружающий мир, и как часто он, наверное, чувствовал себя беспомощным перед лицом этого зла!

Этим священникам-заключенным не было нужды говорить о могуществе зла. Оно было осязаемо. Оно окружало нас со всех сторон. То, что в мире вольно разгулялись силы зла, ведущие борьбу с добром в умах людей, было для нас такой же реальностью, как колючая проволока, которой мы были окружены, как пропаганда, которой нас ежедневно осыпали. А потому здесь было наше поле битвы, сюда Христос в Промысле Своем решил нас поместить, здесь мы должны были трудиться, страдать, и, быть может, умереть. Не в «Индиях» шестнадцатого века, не в Святой земле двенадцатого столетия и даже не в приходе с его столь же будничной и зачастую печальной повседневностью, исполненной человеческих горестей и забот этого мира, но именно здесь, в безнадежных, на первый взгляд, условиях лагеря, где люди боролись просто за выживание и гордились и утешались тем, что продержались еще один день.

Они должны были убедить себя, эти священники-узники, в необходимости обновить свою веру в то, что торжество Христа – залог их собственного торжества. Царствие Божие нужно распространять на земле, ибо в этом смысл Воплощения. И распространять Его должны люди, другие Христы – распространять сегодня, каждый день, непрестанно трудясь и заботясь о людях и событиях, ниспосылаемых им Богом сегодня. «Царствие Божие» действительно пришло на землю вместе с Христом, но внешне мир не изменился с Его рождением. Двенадцати галилейским рыбакам было поручено возвестить благовест всему миру – и насколько

же невыполнимой задачей это казалось, должно быть, даже самым смелым из них, даже после Пятидесятницы! Двадцать веков спустя Царствие Божие все еще было как горчичное зерно, и перед священниками все еще стояла невыполнимая задача заставить людей, никогда не веривших или оставивших свою веру под натиском повседневности или потока пропаганды, вновь слушать благую весть о спасении и любви Божией – и прийти к вере в Него. Эта благая весть достигала людей по одному, по Божией благодати и произволению, а не вдруг, посредством великих, фантастических побед или некоего чуда. В любой день, во всякий день нашей жизни Бог ниспосылает нам людей и возможности, с которыми мы должны что-то делать. Он не ожидает от нас большего, но не примет от нас и меньшего. И мы не выполняем свое обещание, изменяем своей решимости, если не видим в каждой ситуации во всякий миг всякого дня Его Божественную волю.

Именно так распространяется Царствие Божие со времен пришествия Христа до наших дней. Распространение его зависть от веры и решимости каждого человека, но прежде всего от священника, от каждого дня его жизни. Каждая секунда каждой человеческой жизни бесценна в глазах Божиих, и ни одно мгновение не следует тратить на уныние и сомнения. Дело Царствия, дело труда и страдания со Христом, как правило, не более величественно и красиво на вид, чем наша будничная повседневность. Возможно, священнику не сопутствует никакой видимый успех, по крайней мере, по человеческим меркам; он не наблюдает никаких чудесных обращений, никаких восторженных проявлений благочестия, никаких волнующих сцен. И все же он должен поверить и быть твердо убежден в том, что Христос – залог его успеха. Христос распорядился так, чтоб он был сегодня здесь, с этими людьми, дабы здесь, среди этих людей распространилось Царствие Божие. Как священник он должен особым образом свидетельствовать о власти Царствия преображать все человеческое, даже истерзанное и искаженное, будничное и на первый взгляд

незначительное. В сущности, самой сложной его задачей является именно то, что непривлекательно и на первый взгляд безнадежно. Ведь и эти вещи тоже нужно искупить и преобразить, дабы торжество Христа было полным. Окончательное утверждение Царствия Божия на земле не свершится посредством одной великой, победной битвы с силами тьмы, но лишь усилиями каждого из нас. А для этого мы должны трудиться и страдать день за днем, подобно тому, как трудился и страдал Христос, пока все на земле не будет, наконец, преображено. И это преображение будет длиться до конца времен.

Только глубокое обновление веры во Христа, обновленное понимание того, как Его Царствие утверждается в этом мире, и обновленное чувство верности Его воле могло рассеять то уныние, которое переживали порой эти священники-заключенные, объятые страхом оттого, что могущество зла и кажущаяся безнадежность их дела явились им в лагерях со всей ясностью. Испытания, уже ими пройденные и те, которые они проходили теперь, были суровы; возможно, с человеческой точки зрения, это было слишком много, чтобы священник мог с этими справиться в одиночку. Даже возможности беседовать с другими лагерными священниками, обсуждая с ними проблемы религии, Церкви и священства, оказалось недостаточно, чтобы рассеять все сомнения и вернуть покой их разуму. Но размышления духовных упражнений, казалось, действительно помогали этим священникам-маловеерам обновить и вновь обрести свою веру, увидеть события окружающей жизни в свете Царствия, понять, что в мире – таком, какой он есть – вершится дело спасения. Духовные упражнения ничего не меняли в лагере, не изменяли к лучшему жизнь священника, но это не мешало им оказывать воздействие на его душу. Они обновляли его видение своей собственной жизни и жизни окружающих людей, являя ее священнику в свете Божьего Промысла и Христовой преображающей власти. Они давали ему силу и мужество в жесточайших условиях достойно встречать испытания каждого дня,

видя в них дарованную ему возможность созидания Царствия Божия, которую нельзя упускать.

По тем же причинам мы старались также проводить духовные упражнения и с другими заключенными, когда было возможно. Не всегда это было легко, ибо даже те, кто не утратил еще свою веру, поначалу не желали много и подолгу разговаривать о религии. Заключенные вообще не стремились говорить о таких вещах, ибо их заботила проблема простого выживания. Им была присуща простая вера и еще более простые представления о нравственности. Ложь, мошенничество, воровство были в лагере образом жизни; заключенные оправдывали это перед самими собой как единственный способ выживания и как возможность обмануть систему с ее абсолютным господством над их жизнью. В лагере мало кто чувствовал угрызения совести по поводу подобных вещей. Человек просто делал все, чтобы выжить любой ценой. Иногда люди упоминали об этих грехах на исповеди, потому что были к этому приучены, но им было трудно чувствовать по этому поводу искреннее раскаяние. Иногда они, казалось, просили у Бога скорее разрешения на подобные поступки, чем прощения или оставления грехов. Они хотели быть «честными» с Богом, но хотели также выжить в этой жестокой и несправедливой системе и надеялись, что Он поймет.

Эта простота и прямота их веры в Бога и прочность их доверия к Нему воистину поражали нас в этих людях. Даже осознание собственных грехов и недостатков на исповеди, казалось, лишь укрепляло эту веру. Если Бог до сих пор хранил меня, говорили заключенные, если Он до сих пор не отверг меня со всеми моими грехами и не дал мне умереть, то, конечно же, Он и впредь не оставит меня. То был источник их доверия к Нему и упования. На Бога можно было положиться и тогда, когда уже нельзя было рассчитывать на людей; Он поможет даже тогда, когда друзья и все прочее окажется бессильным. Он доказал это тем, что хранил их до сих пор. Неважно, что сделал человек, как он подвел Бога или

товарища: Бог не оставил его до сих пор, а значит, можно рассчитывать на то, что Он поддержит его и завтра.

Духовные упражнения для этих заключенных представляли собой скорее миссию. Мы старались укреплять ту веру и упование, которые у них уже были и которые их поддерживали, но призывали их стать еще ближе к Богу благодаря таинствам: более частой исповеди и причащению. Кроме того, мы старались помочь им осознать, что их жизнь не потеряна и не напрасна, но все так же бесценна в глазах Бога. Потому-то Он и не покинул их и не покинет никогда. Однако мы снова и снова говорили о том, что Божий Промысел – не только Его забота о них. Эту заботу они ощущали уже очень ясно. Мы старались объяснить им, что их жизнь тоже имеет предназначение, что их каждодневный труд и страдание ценны; что в глазах Бога их дела все равно могут быть достойны, даже если они не могут быть таковыми в глазах людей. Поэтому мы учили их совершать «Утреннее приношение»: ежедневно посвящать Богу все молитвы, дела и страдания этого дня, доверяясь Его воле, дабы заслужить благодать для других, особенно для своих родных и друзей.

Таким образом, как бы суровы ни были лагерные условия, какой бы жестокой и бессмысленной ни казалась работа, все это обретало новый смысл и новую ценность. Это превращалось в нечто такое, чем человек мог гордиться каждый день, потому что это было его приношение Богу. Каждый день труда и лишений – словно зерна пшеницы, перемолотые в муку, чтобы стать хлебом Евхаристии – можно было посвящать Богу, преображая в нечто очень ценное в глазах Божиих; то была жертва, которую каждый человек мог возносить Богу в эти долгие, тяжелые дни. Скучная, тяжелая будничность ежедневного труда, даже здесь, в Сибири, могла стать осмысленной и была так же ценна, как жизнь любого человека в любом месте, какой бы скучной, однообразной или незначительной она ни представляла в глазах человека: она была ценна и осмысленна в глазах Бога.

Глава пятнадцатая

Страх смерти

Думаю, что, когда стоишь в ожидании расстрела, твоя теология смерти подвергается довольно неплохой проверке. Я бы не сказал, что выдержал это испытание блестяще. Возможно, все случилось просто слишком быстро, без всякого предупреждения. В Пятом лагере, в Норильске, случился мятеж заключенных, и когда для подавления мятежа были вызваны войска, они разделили заключенных на небольшие группы и куда-то их повели. Я был в группе из тридцати человек. Нас одними из первых вывели из лагеря и повели к песчаному карьеру примерно в миле от него. Мы понятия не имели, что за дисциплинарные меры будут предприняты против нас, но нам даже в голову не приходило, что в пяти ярдах от себя мы увидим строй солдат с винтовками наготове, ожидающих лишь команды стрелять. Команда прозвучала, винтовки поднялись, по другой команде были взведены курки и солдаты прицелились в наши головы. Какое-то мгновение, словно во сне, никто из нас по-настоящему не понимал, что происходит. Затем осознание того, что эти солдаты должны сейчас расстрелять нас и ждут лишь очередной команды, ворвалось в мой разум с неистовой силой, заставившей все во мне замереть. В моем чреве все перевернулось и онемело; мое сердце остановилось; наверняка, я перестал дышать; я не мог пошевелить ни одним мускулом в своем теле; мой разум помутился.

Первой мыслью, которую я помню, был вопрос: «Господи, это конец?» Я знаю, что начал покаянную молитву, но я помню свое ощущение, когда я понял, что другая часть меня не понимает тех слов, которые я бормочу. Другая часть меня сосредоточилась на той мысли, что через долю секунды я предстану перед Богом, ошеломленный и неподготовленный, неспособный в своем внезапном смятении и всепоглощающем страхе испытывать

сожаление о своих грехах, абсолютно недееспособный от потрясения, неспособный даже на простое проявление веры в Того Бога, которому научился безоговорочно доверять в каждом своем поступке, и уж тем более ждать с предвкушением того часа, когда наконец встречусь с Ним лицом к лицу. Я до сих пор очень живо помню осознание происходящего в ту секунду и новый страх, охвативший меня, когда я, парализованный, объятый ужасом, понял, что не могу совершить никакой христианский поступок, чтобы искупить себя, и одновременно сознавал, что надо делать – и, в сущности, пытался это делать: механически повторял покаянную молитву без понимания ее смысла – в последний миг жизни, оставшийся до той секунды, когда завеса падёт, и я предстану перед Богом.

Я не имею представления, как долго длился этот миг. Вдруг вдалеке прозвучал выстрел, крики, и группа офицеров ринулась к нам, чтобы прекратить нашу казнь. Я знаю лишь то, что, когда этот миг миновал, мое сердце бешено колотилось, каждый нерв и каждый мускул дрожал, ослабшие колени тряслись, а разум вновь был в состоянии связно отслеживать последовательность событий. Когда нас снова увели, я попытался понять, что всё-таки со мной произошло.

Довольно часто в годы тюрьмы, допросов и лагерей мне приходилось жить с мыслью о смерти. Не раз мне говорили, что меня расстреляют, и я знаю, что это не были пустые угрозы. Я видел, как рядом со мной умирали люди – от голода, от болезней, порой просто от нежелания жить дальше. Я сталкивался со смертью в своих мыслях снова и снова, помогал другим в последние минуты перед смертью, постоянно жил среди разговоров о смерти и в ее присутствии. Я думал и размышлял о ней, не боялся ее, иногда даже ждал ее. Что же тогда было в этом миге такого, что так испугало меня, заставило полностью потерять власть над собой и лишило способности действовать, молиться и даже думать? Возможно, меня подвела внезапность, неожиданность всего происходящего?

Должно быть, частично так оно и было. Кроме того, был физический страх. Каждому приходилось испытывать на себе эффект неожиданного, сильного испуга, например, когда оказываешься на волосок от несчастного случая, внезапно падаешь или, быть может, просто неожиданно слышишь громкий и странный звук. В такие моменты животный инстинкт берет верх; разум замутняется, тело же реагирует: мышцы и нервы напрягаются, сердцебиение учащается, желудок сжимается. Когда же этот миг проходит – если при этом ничто все же не причиняет телу вреда, – напряжение спадает и тело слабеет. Это просто физические признаки страха, а в том, что тело боится травмы, тем более смерти, нет ничего удивительного. Я не могу быть уверен – возможно, я так и не узнаю этого точно, пока смертный час не приблизится вновь, – но подозреваю, что в основном мое смятение перед расстрелом на том песчаном карьере под Норильском было следствием того самого животного инстинкта перед лицом внезапной и совершенно неожиданной физической опасности.

Ибо сама по себе мысль о смерти не пугает и не пугала меня во все годы войны, тюрьмы и лагерей. Смерть непременно приходит к каждому человеку в конце его земной жизни, но это еще не значит, что смерть есть зло. Благая весть христианства говорит, прежде всего, о том, что смерть не представляет собой ужасающей тайны, которой человек должен бояться. Это не конец жизни, души, личности. Не смерть Христа на Голгофе сама по себе была центральным событием спасения, но Его смерть *и* воскресение; именно воскресение сделало полным Его торжество над грехом и смертью – наследием первородного греха, следствием которого стала необходимость спасения и Спасителя. Это и была «благая весть» о спасении, которая должна была избавить человечество от последнего страха смерти, от последних сомнений по поводу ее сущности. Ибо воскресение – факт, и факт такой же несомненный, как и сама смерть, и оно означает, что смерть не одержала победы над человеком, что жизнь после смерти – несомненная реальность,

а не просто пустая человеческая надежда или выдумка. Именно этот факт превратил в новых людей Его некогда уstraшенных учеников, именно эту «благую весть» они возвещали. Именно этой теме посвящены небольшие проповеди, запечатленные в «Деяниях Апостолов»: Бог воскресил Христа из мертвых, Христос воскрес, и мы тому свидетели.

Со дня грехопадения Адама Бог обещал дать людям Искупителя. С того дня, когда в мир пришла смерть, Бог обещал дать людям победителя смерти. И благая весть, которую мы должны возвестить всему миру, заключается в том, что Искупитель, пришел, смерть побеждена! В этом радость Пасхи, в этом мир, который она несет. «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы верить всему, что предсказывали пророки! – сказал Он двум своим ученикам по пути в Эммаус. – Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою?» «Помазанник Божий», Мессия, должен был восторжествовать над «царствованием» смерти и греха, но как Он мог восторжествовать, не вкусив прежде смерть и не расторгнув затем ее узы? Пасха была торжеством, Пасха была той «благодатью», которую Апостолам было поручено нести до края земли. И радость Пасхи есть радость этой благодати, а покой Пасхи исходит из знания о том, что страшившее человека больше всего на свете, – конец жизни, уничтожение, смерть, – на самом деле совсем не страшно.

Это не выдумка христиан; это факт, и доказательство тому – воскресение. «Если Христос не воскрес, – говорил св. Павел христианам, – то тщетна и вера ваша». Нельзя быть христианином и сомневаться в факте воскресения. Пришествие Христа на землю, Его воплощение в человеческом теле свершилось с одной целью: чтобы Христос умер, а затем восторжествовал над смертью. Он был не просто религиозным предводителем, великим учителем морали и нравственности, Он был обетованным Спасителем, Мессией. Его смерть и воскресение – главные события не только христианства, но и всей человеческой истории. Люди жили в ожидании Его

пришествия и победы над смертью, пока Он наконец не пришел; с тех пор «благая весть» о Его победе над смертью звучит повсюду и несет радость и покой всем верующим.

Наверно, нигде на земле контраст между верующими и неверующими не бросается в глаза так, как в Советском Союзе. В коммунистических кругах тема смерти – почти табу. В идеологии атеистического материализма считается очевидным, что смерть для человека конец всего. Особенно трагична смерть молодых людей, которые умирают, еще не начав жить; смерть людей среднего возраста, угасающих в самом расцвете сил, тоже очень трагична; для старых, проживших полноценную жизнь людей смерть может стать избавлением, но от этого она не перестает быть концом жизни и потому все равно трагична. Человек может жить в памяти близких, имя знаменитого человека благодаря его славе может жить в памяти людей даже дольше обычного, но в остальном смерть означает не только конец *этой* жизни, но конец всякого существования вообще. Преданный коммунист может трудиться, строя новое общество для своих потомков, для тех, кто придет после него, но его самого тогда уже не будет. Людей призывают гордиться своим трудом, строить лучшее завтра для всего человечества, но это единственное, на что они могут надеяться. Маркс и Ленин заложили основание этого учения: нынешние коммунисты должны почитать за честь быть первопроходцами нового общественного строя, великой революционной волны, которая принесет коммунизм во все страны мира. А потому они должны пожертвовать собой без остатка ради великого дела строительства коммунизма, и никакая мысль о смерти не должна отвлекать их от этой цели. В результате в Советском Союзе были приняты практические меры, чтобы избежать любых упоминаний о смерти.

Конечно, когда кто-то умирает, это затрагивает семью покойного, а также его родных и друзей. Если умирает партийный деятель или заслуженный работник, то публично вспоминаются его заслуги и звучат хвалебные речи в его адрес. На могилу в знак уважения и

почета возлагается один-другой траурный венок с прикрепленными к нему лозунгами. Порой похоронную процессию сопровождает оркестр, и товарищи по партии оказывают последние почести покойному, присутствуя на похоронах или произнося речи над его могилой. Но смерть и похороны обычных граждан проходят почти незамеченными.

Похороны обычно проходят после работы, чтобы все желающие могли прийти; однако похороны не повод прерывать работу. Гроб обычно состоит из нескольких досок и имеет форму корыта, обитого тканью типа газа, крашенного в красный цвет. И ничего более. Цена подобного гроба составляет, как правило, пять рублей. Грузовик, на котором гроб везут на кладбище, обычно бесплатно предоставляет предприятие, где работал покойный, и грузовик этот тоже доступен только после работы: тогда использование грузовика в посторонних целях, таких, как похороны, не мешает исполнению пятилетнего плана предприятия. То, что днем тот же грузовик возил гравий, людей, землю и другие материалы, не имеет значения ни для водителя, ни для людей, которые через несколько часов будут использовать его как катафалк. Несколькими взмахами метлы с пола стряхивается грязь, борта кузова откидываются, и грузовик готов к похоронам.

Похороны проходят без помпы. За медленно передвигающимся грузовиком в молчании и глубоком горе идет небольшая кучка ближайших родственников и несколько друзей. Погребальная процессия должна следовать небольшими боковыми улицами, огибая оживленные перекрестки и главные артерии города, чтобы вид похоронного шествия не отвлекал и не огорчал понапрасну других горожан. Чем меньше людей наблюдает такие сцены, говорят власти, тем лучше. Ибо коммунизм делает упор на радостях жизни, на прогрессе человечества, а не на горе и отчаянии. И все же вид похоронной процессии трогает прохожих. Многие останавливаются и снимают шапку в знак сочувствия покойному и его семье. Другие даже преклоняют на тротуаре колена и осеняют себя крестным

знамением, оставаясь в такой позе, пока процессия не минует, ибо мысль о смерти слишком сильно задевает человеческую натуру.

Эта тема всегда была отмечена в России оттенком мистицизма, как видно из сочинений Достоевского, Толстого и других великих русских писателей. Даже неверующие до сих пор зачастую относятся к смерти с налетом мистицизма. Это довольно распространенное явление, особенно в небольших городах и селах, ибо годовщина смерти близкого человека здесь строго соблюдается. В день годовщины друзья и родные идут на кладбище и вновь украшают могилу покойного цветами. Христиане также кладут на могилу освященные иконки и медальоны и, когда возможно, просят священника заново благословить могилу в день годовщины. Однако советский закон теперь запрещает священникам благословлять могилы на кладбище, поэтому люди просят спеть в церкви заупокойную службу об усопшем, чью годовщину смерти они отмечают.

Родных и друзей приглашают домой на трапезу, специально приготовленную по такому случаю. Пекут всевозможные пирожки: с мясом, рыбой, сыром или овощами, такими, как капуста, морковь и лук. Подаются большие блины со сметаной, маслом или каким-нибудь вареньем, если удастся его достать. Затем, в конце трапезы, в середину стола ставится большое блюдо вареного риса с медом и изюмом. Каждый гость съедает ложку кутьи, поминая имя покойного, а заодно выражая свое сочувствие семье и вспоминая добрые дела, совершенные усопшим. Это своего рода религиозный обряд, оставляющий ощущение присутствия ушедшего среди родных и друзей. Люди плачут, вновь переживая на словах и в воспоминаниях день похорон; так они поддерживают связь между живыми и мертвыми, насколько возможно, отдавая дань уважения покойным.

Вторник после первого воскресенья после Пасхи («Простого воскресенья») – особый день поминовения усопших. Толпы людей стекаются на кладбища, неся пищу и цветы, почти как на пикник. Могилы приводятся в порядок и украшаются; затем семья приступает

к трапезе на могиле. Прохожих приглашают присоединиться к ним или поднять тост. В этот же день христиане раньше просили священника спеть на могиле особую заупокойную службу, называемую панихидой. В мои последние годы в Норильске случались дни, когда с раннего утра до позднего вечера я ходил от могилы к могиле и пел эти службы для родственников усопших. Сейчас это также запрещено, а Комсомол и Союз воинствующих безбожников постоянно выступают в прессе за запрет этих ежегодных ритуалов на том основании, что они ведут к общественным беспорядкам и пьянству. Тем не менее обычай живёт, и в этот день можно наблюдать редкостное зрелище, когда все люди приходят на кладбище, чтобы почтить память покойных. Как беспартийные, так и коммунисты приходят отдать дань уважения не только своим собственным ушедшим родственникам, но и близким своих друзей и соседей, деля с ними воспоминания и горе утраты, находя в этом некоторое утешение, а в этих проявлениях нежной и трогательной любви – некие узы, связывающие их с покойными.

Во всем этом, в этих простых, обыкновенных людях, коммунистах и беспартийных, чувствовалось желание сохранить хоть какую-то связь с умершими, слабую надежду на то, что смерть – еще не конец человеческого существования. То был инстинкт, глубоко укорененный в русском национальном характере и традициях, который не могли поколебать никакие утверждения ученых «экспертов» по вопросам смерти в прессе, на радио и телевидении. Люди глубоко ощущали, что значит для них жизнь, и не могли заставить себя поверить в то, что смерть – конец всему. Родные должны хотя бы помнить.

Я думаю, например, о милой старой бабушке в той семье, в которой я прожил шесть лет в Абакане, прежде чем вернулся наконец в Штаты. Она любила говорить со мной, потому что я ее слушал. Несколько забывчивая, она вновь и вновь каждый день пересказывала мне всю свою семидесятишестилетнюю жизнь. Она часто говорила о своем покойном муже: как она навещала его в

тюрьме, как он страдал от болезни, как она делала для него все возможное до самого последнего дня. Больше всего она горевала о том, что муж ее умер в тюрьме, вдали от дома и от семьи. Она считала это величайшей трагедией не только для него, но и для родных. Она часто говорила мне о том, как ей жаль меня, потому что я в Советском Союзе один, без семьи, и рассказывала мне, как она молится о том, чтобы однажды я смог вернуться в Соединенные Штаты и умереть в своей стране, рядом с родными и близкими. Она считала, что умереть на чужбине ужасно, а умереть без любимого человека возле твоей постели – великое несчастье.

Страх смерти, само существование смерти не оставляет равнодушным ни одного человека; и все же связанный со смертью налет мистицизма, глубоко укорененный в русской литературе и народных традициях, как кажется, придает этому общечеловеческому переживанию еще большую остроту. И именно против этих страхов обращена «благая весть» христианства. Я видел это в особенности в простых, хороших людях, для которых желание или ожидание загробной жизни было не просто фантазией или иллюзией, вопреки тому, что им так часто приходилось слышать от коммунистических пропагандистов. Это было не просто верование; это было нечто реальное, нечто, чего не могли поколебать никакие утверждения ученых материалистов, никакие научные доказательства и школьные демонстрации. Смерть для них была не концом, а началом, переходом к жизни вечной. Они радовались тому, что однажды снова встретятся со своими близкими, и иногда даже желали освободиться наконец от горестей этой жизни и пребывать в вечном покое с Богом.

Спасение, говорили эти простые люди, не отмеряется смотря по тому, как хорошо мы справляемся со своими делами здесь, на земле; оно зависит в конечном счете лишь от нашей веры в Бога и от нашей способности предать себя в Его руки. В успехах и неудачах, в болезни и в здоровье, в горе и в радости мы должны прибегать к Богу, уповать на Бога, веруя в Него с каждым днем все сильнее и

подготавливая себя к грядущей жизни с Ним. В этой простоте было нечто прекрасное, нечто, с чем не могли сравниться никакие богословы и никакие богословские труды с их трактовкой смерти. То, что я обнаружил нечто подобное в Советском Союзе, сперва поразило меня. И многому научило. И вкупе с моим собственным опытом это заставило меня задуматься – и всерьез – над значением смерти для христианина.

Что заставляет нас бояться смерти? Ведь смерть означает не больше и не меньше, чем конец нашего испытательного срока здесь на земле; это возвращение, возвращение домой, к Богу и Отцу, когда-то нас сотворившему. Это не конец жизни; факт воскресения доказывает это, не оставляя места сомнениям. Несомненно, нам горько расставаться с семьей и друзьями. Это свойственное человеку чувство скорби, которого никто не должен стыдиться. Но, как говорит св. Павел, мы, христиане, не скорбим, как прочие, не имеющие надежды; мы веруем в воскресении, как говорим в своем Символе веры, и в жизнь будущего века. В нашей вере смерть – не трагедия, но лишь predetermined переход от этой жизни к жизни вечной.

Смерти могут бояться лишь те, кто не верит, кто не имеет надежды. Ее могут бояться те, чья вера во Христа и в воскресение слаба, или же те, кто боится встретиться лицом к лицу с Богом из-за того, что совершили или как прожили этот испытательный срок, который мы зовем земной жизнью. Человек также может вполне законно беспокоиться о тех, кто остается здесь; христиане всегда молились о том, чтобы Господь избавил их от «нечаянной и внезапной смерти». Но мы не боимся смерти как таковой. Это возвращение домой, быть может, возвращение блудного сына в распростертые объятия любящего отца. Мы, как и все люди, ожидаем ее, но мы ожидаем с упованием и даже с радостью, ибо нас поддерживает вера в Христа и Его торжество над смертью.

Христос воскрес, и вера наша не тщетна. Воскресение – факт, письменно зафиксированный факт истории человечества и того, что

теологи зовут «историей спасения». Поэтому смерть для нас не враг, не ужас, не слово, которое лучше не вспоминать вовсе или преуменьшать его значение подобно коммунистам. Мы думаем и говорим о ней не как о конце всего, но как о конце нашего испытания. Благодаря своей вере мы можем ожидать ее каждый день, и даже предвкушать. Мы можем научиться жаждать ее, готовиться к ней, и принять ее радостно, в блаженстве и покое, когда будем наконец призваны домой, к своему небесному наследию. В этом наша вера; в сущности, это и означает быть христианином: верующим во Христа, обетованного Искупителя и победителя греха и смерти.

Глава шестнадцатая

Свобода

В годы тюрьмы и сибирских лагерей принудительных работ чиновники и следователи не раз говорили мне, что в Советском Союзе я никогда уже не буду свободен. Иногда они говорили это саркастически, иногда угрожающе, иногда просто констатируя. Когда в лагерях меня вызывали на допросы, что случалось там регулярно со всяким священником, можно было почти наверняка сказать заранее, что за время нашего разговора меня хотя бы раз обязательно уверят, что свободы мне не видать. Конечно, и им, и мне было хорошо известно, что срок мой – пятнадцать лет, но это игнорировалось, словно некая юридическая фикция; кроме того, постоянно происходило столько формальных нарушений и незначительных отступлений от лагерных правил, что при желании всегда можно было найти какой-нибудь предлог, чтобы продлить срок. Лагерные чиновники стояли над заключенными, их слово было закон, и заключенные в подобных случаях не могли обращаться в суд или надеяться на помощь вышестоящих властей. Даже мои товарищи по лагерю в повседневной беседе почти всегда считали очевидным, что я никогда не дождусь конца своего срока и не увижу внешней стороны колючей проволоки. Они сочувственно качали головой и пожимали плечами, но видели в этом просто очередное проявление той систематической несправедливости, которую нам приходилось терпеть, прискорбный, но предрешенный исход. Постепенно я и сам стал в это верить и принимать это как жизненный факт.

Однако одним весенним утром, когда я был в кайерканском лагере, перед началом работы меня вызвали в лагерное управление и сказали, что через десять дней меня освободят. Проверив мои документы, лагерные власти пришли к выводу, что, согласно каким-

то новым постановлениям, мне полагается сокращение срока на три месяца; поэтому фактически я отбыл в лагерях только четырнадцать лет и девять месяцев вместо пятнадцати лет, к которым был приговорен. Поэтому в последующие вечера после работы я стал проходить все те медицинские обследования и бюрократические процедуры, которые всегда предшествуют освобождению заключенного. В ночь перед освобождением я не сомкнул глаз. Я просто не мог поверить в то, что после пятнадцати лет в лагерях я действительно буду снова свободен. Около девяти часов следующего утра прораб вызвал меня из барака и позвал в контору КГБ (Комитета государственной безопасности), где я просидел около двух часов, подписывая документы и заполняя бланки. Я все ждал какой-нибудь проблемы или нового вопроса, но служащие конторы обращались со мной совершенно обыкновенно, по-деловому, уделяя мне не больше внимания, чем любому другому заключенному, которого им приходилось освобождать. Наконец все было приведено в порядок, и один из служащих очень подробно объяснил мне мой новый статус.

Люди, покидающие лагерь, свободны не до конца; вместо паспорта, который выдается всем советским гражданам, вышедшие из заключения получают так называемую «справку об освобождении», то есть документ, подтверждающий, что человек полностью отбыл срок наказания. Но даже после этого бывшие заключенные получают разный статус. Их могут полностью освободить и реабилитировать или же, как в моем случае, освободить лишь частично. Как судимый за шпионаж, я получил так называемое *приложение паспорта*. Этот документ ограничивал меня с точки зрения места проживания и работы. Так, мне не разрешалось жить в «режимных городах»^[6], то есть в крупных городах, таких, как Ленинград, Москва, Киев, Владивосток или Ташкент, а также в пограничных городах, из которых я, предположительно, мог бежать за границу. Я мог находиться в подобных местах не дольше трех дней, да и то лишь с разрешения милиции и правительства. Также со

своим приложением паспорта, в какой бы город я ни приехал, первым делом я должен был явиться в милицию и зарегистрировать свое пребывание в городе.

Объяснив мне все это и, казалось, в сотый раз, проверив мои лагерные документы, чиновники сказали мне, чтобы, покинув лагерь, я направлялся прямо в Норильск и явился там в милицию. В милиции, сказали они, мне дадут все положенные документы, удостоверяющие личность, чтобы я мог обосноваться в городе как свободный гражданин. К полудню сибирского апрельского дня с бумажной канителью и объяснениями было покончено, и я в последний раз прошел через главные ворота лагеря. Выйдя за ворота и пройдя около пятнадцати шагов, я машинально остановился в ожидании конвоиров, как делали все заключенные каждое утро, отправляясь на работу. Часовой у ворот смотрел на меня и смеялся: девять из десяти вышедших на свободу лагерников совершали ту же ошибку в силу привычки.

Я чувствовал себя так неловко, что не знал даже, как свободные люди ходят. Казалось странным, что руки свободно висят у меня по сторонам, а не сложены за спиной. Я обернулся, чтобы долгим, прощальным взглядом окинуть лагерь, словно мне трудно оторвать себя от него, а затем засунул руки в карманы и побрел в направлении города Кайеркана. На станции стоял поезд, я сел в него, и никто не попытался мне помешать и вообще не обратил на меня ни малейшего внимания. Мне не верилось. Кондукторша взяла с меня плату за проезд. Я все ждал, что она задаст мне какой-нибудь вопрос или создаст какую-то проблему. Но она лишь вежливо улыбалась. Я сел на сидение и стал смотреть в окно, чуть не плача: свободный человек, с которым обходятся как со свободным человеком. Я все ждал, что вот-вот что-нибудь случится, кто-нибудь закричит, что-то заставит поезд остановиться, кто-то покажет на меня пальцем. Но ничего такого не происходило. Поезд тронулся. Я был наконец свободен.

Я думаю, что нужно, пожалуй, на время лишиться свободы, чтобы по-настоящему понять, насколько бесценен этот дар. Конечно, одной из величайших мук для заключенных в тюрьмах и лагерях было то, что они знали и помнили, что значит быть свободными. Строгий режим тюрем и лагерей лишь усугублял это чувство, ибо там все было строго регламентировано; дело было не только в пребывании за решеткой или колючей проволокой, но и в том, что каждая мельчайшая деталь распорядка дня была строго определена и абсолютно непреложна. Заключенный не принимал никаких решений. Он должен был в определенное время вставать, в определенное время являться на работу, в определенное время отдыхать и делать упражнения, в определенное время ложиться спать. Время скудных трапез тоже было строго расписано, и если человек по какой-то причине пропускал его, он просто оставался голодным. Но хуже всех этих физических ограничений было внушенное человеку горьким опытом и постоянно поддерживаемое в нем тюремщиками сознание того, что заключенный – человек без прав и с ним надлежит обходиться соответствующим образом. В сущности, он становился скорее вещью, чем личностью, и был лишен всякого уважения к своему человеческому достоинству, к своей личности и даже к своему существованию. Он был всего лишь номером, и чаще всего тюремщики и начальство обращались к нему по номеру.

Некоторых это попросту разрушало. Некоторые находили убежище в мыслях о прошлом, пытаясь заглушить ими зловещую реальность настоящего и тем самым спастись от ужаса лагерной действительности. Некоторые впадали в депрессию, приступы которой становились все более глубокими под давлением лагерной жизни; некоторые попросту оставляли даже мысль о надежде и лишались воли идти дальше. Немногие из таких людей выживали. И лишь тем, кто принимал утрату свободы, как бы больно и горько это ни было, и решался следовать своему инстинкту выживания, удавалось в конце концов выйти из лагеря. Они объединялись между

собой, между ними завязывалась дружба, почти братство, потому что инстинкт подсказывал им, что в одиночку человек рискует в конце концов проиграть. Пребывание же среди других, постоянное общение с ними давало человеку некоторую уверенность. Он утратил все, его жизни постоянно угрожали болезни, травмы, даже смерть, и все-таки он был не одинок. Кому-то в бараках было до него дело, даже если друг ничем не мог ему помочь, разве что утешить. Но даже это позволяло заключенному до какой-то степени вновь обрести чувство человеческого достоинства, ощущения значимости собственной личности. Он, в свою очередь, тоже сочувствовал другу, его утрате свободы и неопределенности его будущего, мог разделять с ним его надежду на выживание, его воспоминания о прошлом, его мысли о будущем.

Можно лишить свободы тело, но ничто не может разрушить в человеке его глубочайшую свободу, свободу его души, свободу разума и воли. Это самые возвышенные и благородные дары человека, именно они делают его тем, что он есть, и их невозможно ограничить. Даже в тюрьме человек сохраняет свободу воли, свободу выбора. Даже в тюрьме человек может выбирать добро или зло, бороться за жизнь или отчаяться, служить Богу и другим или стать замкнутым и эгоистичным. У человека остается свободная воля, а значит, и свобода, ибо свобода определяется просто как состояние, при котором человек является свободным, не стесненным необходимостью, роком или обстоятельствами в своих решениях и поступках.

Эта свобода абсолютна, и все же свобода как таковая не является абсолютom, как многие хотели бы заставить нас думать сегодня. Молодые тоже зачастую жаждут свободы и независимости так, словно это некий абсолют. Они говорят о свободе так, как будто она является благом сама по себе, как будто она существует в каком-то идеальном мироустройстве, где нет долга и обязанностей. Это присущее молодым стремление к свободе и независимости естественно, это часть процесса взросления, становления зрелой

личности, когда человек перестает держаться за материнскую юбку и готовится к взрослой жизни. И все же родители не исполняют своего родительского долга, если позволяют этой тенденции развиваться бесконтрольно, необузданно, и не настаивают на том, чтобы дети пользовались этой свободой с учетом своих обязанностей перед школой и домом, семьей и родителями, друзьями и вышестоящими. Ибо взрослый мир, в который ребенок так горячо стремится попасть, встречи с которым он ждет с таким нетерпением и жадой, это также мир, где свобода во многом ограничена обстоятельствами, конкретными рамками и обязанностями, и человеческая свобода как таковая существует только в этом реальном мире повседневности, а не в каком-то идеальном мироустройстве.

В демократическом обществе свобода человека чаще страдает от того, что ею злоупотребляют другие, чем от каких-либо правовых ограничений, и все же она тоже страдает. Как кажется, порой это происходит оттого, что законы или те, кто проводит их в жизнь, слишком снисходительны и не предусматривают должного наказания для тех, кто нарушает права других. В тоталитарном государстве, с другой стороны, свобода страдает от невозможности ею пользоваться, ибо законы строги, наказания суровы, и сами власти ограничивают права граждан. Несомненно, факторы, ограничивающие свободу человека в конкретном, реальном мире, где мы живем, многочисленны, будь то свобода слова или совести, будь то гражданская, социальная или религиозная свобода личности. В каком бы аспекте мы ни рассматривали понятие свободы, мы всегда столкнемся с такими проблемами реальной жизни, которые нельзя разрешить, предоставив каждому человеку ту полную свободу, которой он хочет.

Я сидел в поезде, направлявшемся в Норильск, радовался своей новообретенной свободе и в то же время думал о подобных вещах. Что значит быть свободным, что это значит для всякого человека? Я вышел из лагеря и был теперь свободен от строгого распорядка дня, свободен распоряжаться своей собственной жизнью, свободен сам

принимать повседневные решения. Да, в этом смысле я был свободен, и все же я не был свободен от всех ограничений. Я был связан некоторыми особыми ограничениями как бывший преступник: пока я имел «приложение паспорта», это тоже налагало на меня некоторые особые ограничения. И все же все эти ограничения лишь в деталях отличались от тех, которыми связан любой человек, живущий в обществе: это правила и обычаи, законы и традиции, и даже обыкновения, все то, что «заведено» в семье, в церкви, в обществе или в культуре. Свобода человека никогда не бывает абсолютной.

В конце концов, единственная абсолютная свобода, которой мы обладаем, это наша свобода воли. И эта свобода была дарована нам Создателем, в сущности, для того, чтобы мы могли свободно избрать любовь к Нему и служение Ему. Все остальные создания служат ему из необходимости; самим своим бытием и существованием они свидетельствуют о Его могуществе и любви или отражают Его красоту и славу. И только человеку и ангелам Он даровал власть свободно решать, будут ли они любить Его и служить Ему. Он сделал нас немногим меньше ангелов, дал нам разум и свободную волю, и это отличительное свойство человека, венец его славы, самый драгоценный из его даров и одновременно самая большая и самая страшная его ответственность. Только человек может свободно принять решение не служить своему Создателю.

Именно избирая служение Богу, исполнение Его воли, человек достигает вершины и полноты своей свободы. То, что вершину и полноту своей свободы мы обретаем, следуя вплоть до мельчайших подробностей воле другого, может показаться парадоксальным, но тем не менее это истина, если этот другой – Бог. Я могу засвидетельствовать это, ибо постиг на собственном опыте, особенно в свои самые черные часы на Лубянке, что величайшее ощущение свободы, вместе с душевным покоем и надежным чувством уверенности, приходит к человеку тогда, когда он полностью отдает свою волю, чтобы следовать воле Божией. С тех

пор я никогда уже не мог усомниться в том, что ничто в жизни не может служить для меня лучшим ручательством, чем сознательное и добровольное следование явленной мне воле Божией. Мне было слишком хорошо известно, насколько бессмысленно и небезопасно для меня следовать своей собственной воле, своим собственным наклонностям и желаниям, если они не совпадают с Его волей. Тогда я осознал – и с каждым днем это осознание углублялось, – что истинная свобода означает не что иное, как позволить Богу действовать в моей душе, не мешать Ему и отдавать предпочтение Его воле, которую Он являет мне при помощи побуждений, вдохновения и других средств, которые избирает сам, а не действовать по собственному почину.

Догадываюсь, что тем, кто не верит в Бога, подобные мысли покажутся чистой бессмыслицей и необъяснимой глупостью. Однако для меня не могло быть в этом никаких сомнений: самая полная свобода, которую я когда-либо знал, величайшее чувство уверенности и безопасности пришли ко мне тогда, когда я полностью отказался от своей воли, дабы исполнять только волю Божию. Чего мне было бояться, пока я исполнял Его волю? Не смерти. Не неудач, кроме тех, которые заключались в том, что мне не удавалось исполнять Его волю. «Если Бог за нас, кто против нас?» Решение следовать Его воле и переживание духовной свободы, которое за этим последовало, стали моей величайшей радостью и источником огромной внутренней силы. Ибо осознание того, что Он направляет меня во всех моих поступках, что Он поддерживает меня Своей благодатью, давало мне невыразимое ощущение покоя и мужества. Даже в минуты чисто человеческого уныния осознание того, что во всем, что происходит со мной, я исполняю волю Божию, рассеивало все сомнения и отчаяние. Какие бы испытания я ни проходил в то время, каким бы лишениям и страданиям ни подвергался, куда важнее было понимание того, что все это послано мне Богом и служит Его Божественному Промыслу. Не всегда мог я постичь глубину этого Промысла или притязать на понимание Его

мудрости, но я был спокоен, зная, что, полностью препоручая себя Его воле, я тем самым исполняю Его волю так совершенно, как только могу.

Такого рода духовная свобода, которую я познал на горьком опыте, не может быть достигнута в одночасье, и нельзя обладать ею в полноте, в окончательном, завершенном виде. Ибо каждый новый день, каждый новый час, каждое новое событие и обстоятельство, каждый новый поступок дают нам возможность развиваться и возрастать в этой свободе. Для этого требуется готовность принять волю Божию, раскрыться ей навстречу, а не какой-то планомерный подход или продуманный метод. Даже аскетические подвиги, такие, как покаянные дела, посты и умерщвление, будут скорее мешать, чем помогать, если они предпринимаются самовольно. Стремление же исключить всякое своеволие, чтобы принять Божию волю, явленную в обстоятельствах повседневной жизни, – самый верный способ возрасти в верности воле Божией. У человека, избравшего этот путь, будет более чем достаточно возможностей совершать подвиги, переносить страдания, испытывать боль. Но, что еще существеннее, этот путь превратит человека в верное орудие исполнения Божьего замысла, и не только замысла спасения этого человека, но также и других людей. Служение Богу должно стать выше всего остального.

Поэтому духовность, основанная на полном доверии к Богу, есть вернейший залог душевного покоя и духовной свободы. Такая духовность требует, чтобы душа научилась действовать не по собственному почину, но откликаясь на то, чего требует от нее Бог каждый день и каждый миг. Ее внимание непрестанно должно быть сосредоточено прежде всего на воле Божией, которую Бог открывает ей в людях, местах и обстоятельствах, а не на средствах, необходимых для ее исполнения. Тогда, что бы эти средства ни предполагали – страдание, опасность, одиночество или физические лишения, такие, как болезнь или голод, – осознание того, что, принимая их, творишь волю Божию, сделает эту жертву простой, а

бремя легким. Нет никакой иной причины принимать страдания или совершать дела умерщвления; более того, когда за стремлением к ним стоит нечто иное, нежели желание творить волю Божию, это стремление является признаком какого-то духовного извращения. Но приятие всего происходящего как воли Божией, чего бы это ни стоило в духовном, психологическом или физическом плане, – самый верный и прямой путь к свободе духа и души, которая выше любого разума и любых объяснений.

Мое железнодорожное путешествие из Кайеркана в Норильск было недолгим. Однако оно воскресило в моей памяти мой первый долгий путь из Львова в Россию, когда я был так уверен в том, что следую воле Божией. Это и было подлинной причиной моего приезда, но как несовершенно было тогда мое понимание исполнения Его воли! Сколь многому мне пришлось научиться за это время, как часто я падал, как болезненны были уроки! И вот теперь, как свободный человек, я наконец вновь возьмусь за то, о чем мечтал тогда: стану служить советским людям как священник и в меру своих возможностей помогать им идти к вечному спасению, служа Богу и любя Его. Возможно, физически я не буду настолько свободен, чтобы делать все, что захочу; я должен буду зарегистрироваться в милиции, как только приеду в Норильск, и, несомненно, меня будут держать под наблюдением. Но духовно я никогда еще не чувствовал себя более свободным, то есть более уверенным в том, что Бог непрестанно хранит меня и направляет по пути, предначертанному мне Его Божественным Промыслом.

Глава семнадцатая

Царствие Божие

Приехав в Норильск, я первым делом отправился искать украинского священника отца Виктора, который сидел вместе со мной в одном из лагерей и освободился четырьмя месяцами раньше меня. Я знал, что и его снабдили приложением паспорта и направили в Норильск. Расспросы в конце концов привели меня в трущобы на окраине города, где я и нашел его. Это беспорядочное нагромождение лачуг, хижин и хибар (называемых балками), где некогда ютились большие группы китайских рабочих, «добровольно» приехавших работать в Сибирь, жители Норильска до сих пор звали «Шанхаем». Его лачуги и хижины были сделаны из старых досок и ящиков и упирались друг в друга, словно пластинки домино. Стены были в основном двойными, сделанными из мелких остатков древесины и заполненными золой для изоляции. Некоторые из самых лучших были снаружи покрыты толем, глиной или штукатуркой. Отец Виктор жил в одном из таких балков вместе с другим священником, отцом Нероном, который тоже был из заключенных того шахтерского лагеря в Кайеркане, который я только что покинул, но он был освобожден еще до того, как я туда попал.

В этом маленьком балке, наверно, около десяти квадратных футов площадью, у них было две кровати, между которыми помещался алтарь; ведь эта маленькая комнатка служила им еще и часовней. Они жили в такой тесноте, что я спросил отца Виктора, не знает ли он какую-нибудь семью поблизости, которая могла бы меня приютить. Но ни он, ни Нерон даже слышать об этом не желали. Они очень обрадовались мне и настаивали, чтобы я остался у них. Они приготовили мне ужин на маленькой электрической плитке, которая служила как для приготовления еды, так и для обогрева. Потом мы

проговорили несколько часов кряду. В ту ночь в небольшом проходе между двумя кроватями, перед алтарем, мы составили вместе три стула. На них я и спал, постелив себе свою стеганую лагерную куртку и штаны – единственную одежду, которая у меня была – вместо матраса, одеяла и подушки. Встав поутру, мы сразу убрали постели и приготовились служить Мессу.

К шести тридцати в нашей маленькой комнатке было десять или двенадцать человек, которые собрались сюда на богослужение. По воскресеньям же люди толпились не только в этой комнате, но и в коридоре за открытой дверью. Чтобы разместить все прибывающую толпу людей, Виктор и Нерон служили каждое воскресенье по две Мессы, и на каждой произносили проповедь, и на каждой Мессе бывало иногда до шестидесяти человек, а то и больше. Ибо этот ветхий балок был, в сущности, их «приходской церковью». По вечерам здесь, как правило, тоже было какое-нибудь собрание: люди приходили на исповедь, на крестины, на свадьбу или на панихиду, очень красивую русскую поминальную службу за усопших.

И толпы прихожан были столь велики, что вскоре по воскресеньям я стал брать саквояж с богослужебными принадлежностями, которые давал мне Виктор, и отправляться с ним в другую часть города – когда-то это был лагерь, – чтобы служить Мессу для другого, польского, «прихода» в одном из бывших лагерных бараков, в котором теперь жили обычные горожане. Перед Мессой я исповедовал, затем, после Мессы, венчал и крестил. Свадеб и крестин становилось все больше и больше, по мере того, как люди узнавали, что я бываю здесь каждое воскресенье. Я зарегистрировался в милиции, как мне и было сказано, потом нашел работу и наконец смог приобрести свой собственный небольшой балок. Здесь я тоже ежедневно служил Мессу, на которую приходило все больше людей, но по воскресеньям продолжал богослужения для польского «прихода» в бывшем лагерном бараке.

Разумеется, я все время находился под надзором милиции, и мои прихожане тоже. Иногда меня вызывали в милицию, задавали

вопросы и предостерегали от занятий «агитацией». Я знал, что некоторых прихожан в связи с тем, что они столь открыто исповедуют религию, тоже допрашивает милиция или донимают представители профсоюзов и начальники на работе. Но меня поражала и утешала твердость их веры и их мужество перед лицом этих мелких преследований, поэтому я был полон решимости помогать им, покуда у меня есть такая возможность. Даже если это грозило мне повторным арестом и заключением в тюрьму или в лагерь, ради того чтобы служить этим мужественным христианам, я был готов рисковать.

Честно говоря, меня зачастую изумляло то, как эти люди держатся за свою веру в этой официально исповедующей атеизм стране. Атеизм преподавали и проповедовали повсеместно: в газетах, на радио и телевидении, в школах, в книгах и в периодических изданиях всех сортов. Советская конституция, разумеется, гарантирует каждому гражданину право исповедовать религиозную веру, но запрещает всякую проповедь и обучение религии. Кроме того, этот закон получил интерпретацию, согласно которой детям до восемнадцати лет запрещается посещать церковь даже в сопровождении родителей, а священникам не разрешается давать религиозные наставления молодежи. Та же статья Конституции, которая гарантирует свободу вероисповедания, но не проповеди, гарантирует также свободу атеистической пропаганды. И уж эта свобода используется государством в полную силу и всеми мыслимыми способами. Все, от грудных детей до глубоких старцев, непрестанно подвергаются воздействию этой пропаганды. Влияние всего этого на некогда Святую Русь привело к полному изменению всей общественной жизни страны, всего образа мыслей и поведения среднего гражданина. И все же все это не смогло поколебать веры миллионов верующих.

В то время как атеизм оказывает свое влияние на всю страну, то же делает и Православная Церковь, и другие религиозные конфессии, несмотря на бесчисленные удары, которым они

подвергаются, и невероятно трудные условия, в которых они работают. Церкви малочисленны и расположены вдалеке друг от друга. Ни Библию, ни другую религиозную литературу нельзя ни купить, ни опубликовать. У людей нет доступа ни к каким церковным периодическим изданиям, религиозным газетам или брошюрам. Однако в некоторых православных монастырях все еще можно купить небольшие иконы, четки, свечи и открытки с небольшими молитвами на обратной стороне, и люди хранят их и дорожат ими. По воскресеньям и субботним вечерам в церквях проводятся богослужения. Если же священник желает устроить службу в другой день, например, в церковный праздник, исполнение его желания зависит от специального комитета, который занимается организацией всех богослужений и ведет все церковные дела.

Эти церковные комитеты несут ответственность непосредственно перед правительством. Их обязанность заключается в том, чтобы наблюдать за всеми церковными делами, даже за проповедью, которая должна ограничиваться строго религиозными темами, как правило, должна быть короткой и тщательно очищенной от любых намеков на политику или критику в адрес правительства, партии и системы. Православная Церковь, которая до сих пор остается «официальной» Церковью России, получает определенные правительственные субсидии на сохранение исторических церковных структур, а также небольшие оклады для священников, которые скупно распределяет церковный комитет. Парадоксально, конечно, что атеистическое правительство Советского Союза имеет особый Совет по делам религиозных культов, который предоставляет даже средства на церковные дела. Но тот же самый совет служит также органом строгого контроля над церквями и всеми их делами. Поэтому организованная Православная Церковь со своей иерархией мало что может сделать против влияния правительства, которое делает все, чтобы нарушить чистоту ее духовной структуры.

Люди прекрасно понимали, что происходит. Иногда они жаловались на то, что духовенство и архиереи не реагируют на

подобные вмешательства государства в дела Церкви. Однако могли реагировать и реагировали очень немногие; и даже если они делали это, подобные протесты или обличения правительства никогда не получали публичной огласки. Это молчание церковных властей иногда порождало в народе слухи. Время от времени можно было услышать, как кто-нибудь гневно осуждает стоящих во главе Церкви, называя их проститутками или прихвостнями коммунизма. И все же в основном все понимали, что церковная иерархия и другие церковные власти не могут избежать давления правящего режима, и народ продолжал питать большое уважение к Православной Церкви и ее служителям.

Все понимали также, что за любой попыткой церковью противостоять правительству или отказываться подчиняться Совету по делам религиозных культов, последуют ответные меры. Для правительства это не представляло особого труда. Например, составлялась петиция с определенным числом подписей, в которой граждане просили о закрытии церкви из соображений общественного порядка, безопасности или чего-нибудь еще. Или город внезапно планировал новостройку, и церковь оказывалась в списке домов, подлежащих сносу. Естественно, правительство в таких случаях всегда утверждало петицию или план новой застройки. Однако, несмотря на подобное давление, вмешательства и контроль со стороны правительства, вопреки пропаганде и постоянным мелким нападкам в школах, на службе и на производстве, Православная Церковь продолжает оказывать значительное влияние на всю страну.

Церкви, которые до сих пор не снесли и не закрыли, как правило, переполнены, и, вопреки утверждениям Комсомола и Союза воинствующих безбожников, не только пожилыми людьми, чье число постоянно уменьшается, но и молодежью. Некоторые из них приходят в церковь именно потому, что это не одобряется: как и все молодые люди, они хотят показать свою независимость. Некоторые приходят поначалу из любопытства, другие – из туманного желания

восстановить связь с этническими или культурными традициями. Многие из них ищут чего-то, но *чего*, они сами до конца не понимают и не могут ясно выразить. От отцов и дедов они знают, как было «в старину»; они хотят знать, не лишены ли они чего-то ценного, не могут ли и они обрести ту уверенность и покой, которые, казалось, давала «старикам» их вера в Бога. Потому и приходят. И вера, Божиим произволением, остается сильной и продолжает распространяться; детей продолжают крестить, и даже над детьми некоторых партийных деятелей тайно совершают обряд крещения.

Однако в основном православные священники не позволяли представителям других конфессий приступать к таинствам крещения, Евхаристии и покаяния. В этом отношении они были довольно строги и несговорчивы. Некоторые католические священники Византийского обряда были куда более открытыми по отношению к православным верующим. Мы исповедовали их и крестили их детей, благословляли их дома, посещали их больных и хоронили мертвых. Однако такие священники были малочисленны. Православные и католические верующие обнаруживали в отношениях друг с другом больше того духа, который после II Ватиканского собора стал известен как экуменизм; но официально Церкви все еще оставались верны строгому пониманию законов, установленных в древности и предназначенных для того, чтобы защищать верующих от впадения в ересь, законов, запрещавших взаимное общение с верными других христианских конфессий. Такие законы, казалось, были мало уместны в той ситуации, которая сложилась в Сибири, и верующие почувствовали это первыми. Они хотели служить Богу и исповедовать свою веру, и в их глазах все Церкви служили одному и тому же Триединому Богу, в каждой евхаристической жертве возносились Тело и Кровь одного и того же Христа, какой бы обряд ни применялся. Они были благожелательны по отношению друг к другу, поддерживали друг друга, помогали друг другу, оповещали друг друга о том, где будет богослужение и где можно найти священника. Это они первыми последовали

побуждениям Духа и сломали барьеры; за ними неохотно последовали священники.

В Сибири, как и во всем Советском Союзе, были и другие религиозные течения, в том числе процветающие. Они не строили храмов, чтобы собираться там на богослужения: им было достаточно домов, в которых они собирались по воскресеньям или в другие дни. Они не вели никакого учета своим делам и мероприятиям. Но всякий раз, когда они собирались на общую молитву и чтение Библии, они все больше сближались, и это воодушевляло их на поиски новых людей, которые хотели бы к ним примкнуть. Неформальный характер их богослужений, твердость их религиозных убеждений, спонтанность молитв давали им осознание Божественного присутствия в каждом из них и в общине верующих в целом. Их вера была сильна, они не боялись открыто проявлять ее или говорить о ней с другими, и, казалось, их куда меньше, чем других христиан, пугали гонения или репрессии со стороны государства. Они были проклятием КГБ и Совета по делам религиозных культов, ибо отказывались бояться, и у них не было церквей, а потому нечего было конфисковать. К сожалению, зачастую ту же непримиримость они переносили и на свои отношения с христианами других конфессий; они были откровенны в своей критике официальных Церквей, прежде всего Православной и Католической. Они были убеждены в том, что только они сохранили в чистоте евангельскую весть, и видели в других христианах грешников, нуждающихся в обращении, а в священниках посланцев дьявола или великой блудницы, совращающих людей с пути истинного, и говорили об этом прямо и откровенно. Некоторые из моих самых неприятных переживаний в лагерях были связаны именно с такими людьми, и они не желали иметь со мной дело как со священником.

Тем не менее я восхищался этими людьми и прочностью их веры перед лицом непрестанной пропаганды и гонений, окружавших всех нас. Меня также часто изумляли пути Промысла Божия и таинственное действие благодати, благодаря которым вера в России

выстояла, несмотря на все могущество и силу атеистической системы, которая должна была решительно уничтожить всякую религию, и даже на все чисто человеческие изъяны самих церквей. В такие минуты мне становилось ясно, сколь тщетны все попытки человека и государства уничтожить Царствие Божие. Можно закрыть церкви, посадить в тюрьмы священников и пасторов, можно даже заставить верующих и церкви враждовать между собой, но все это не уничтожит доброго семени, лежащего среди смолы и плевелов, доброго семени, которое есть Царствие Божие. Оно пребудет, как горчичное зерно, как закваска в тесте. Вера этих мужественных христиан Сибири и всей России была достаточным тому свидетельством.

Христос воистину Царь, как сказал Он Понтию Пилату, но Царство Его не от мира сего. Это Царство не противостоит советскому правительству и вообще никакому правительству; у этого Царства нет ни земель, ни домов, ни структур. Это Царство правды, любви и мира, как поет Церковь в префации к празднику Христа-Царя, Царство истины и жизни, Царство святости и благодати, которое пребывает в сердцах людей и основано на их вере и уверенности в словах Христа. «Не мир пришел Я принести, но меч», – возвещает Христос в Евангелии от Матфея, однако революция, к которой Он призывает, не призвана низвергнуть сильных мира сего; эта революция должна свершиться в сердцах людей. «Покайтесь, – говорил Он, – исправьте сердца ваши, ибо приблизилось Царствие Божие».

Бог в Своем Промысле не оставляет человека в покое, в мире, пока некий перелом, который рано или поздно должен совершиться во всяком сердце, не заставит его обратиться. Благодать Божия требует полного преображения человека, ибо человек принадлежит Богу. Лишь вера, лишь внутренняя перемена позволит человеку войти в Царствие Божие. Рано или поздно всякий человек должен узнать, что этот непостоянный и изменчивый мир не может стать источником покоя, источником подлинного внутреннего мира.

«Ищите же прежде Царства Божия, – говорит Господь, – и это все приложится вам». Вот где источник нашего высшего мира и покоя – в Промысле Божиим, – но мы должны научиться принимать Бога в вере, искать Его волю во всем и следовать ей, возлагая на Него все свое доверие и упование.

А потому нашим главным долгом, целью всех наших усилий должно стать преобразование нас самих, нашей собственной души и нашей собственной жизни. Преуспевая в этом, мы способствуем распространению Царствия Божия. На деле это значит, что каждый из нас должен честно исполнять свой повседневный долг. Люди и обстоятельства, каждый день даруемые нам Промыслом Божиим, дают нам возможность совершать поступок за поступком, доказывая свою преданность Царствию. Неважно, состоим ли мы в браке и заботимся о доме и семье, учимся ли в школе, работаем ли в бюро, на заводе или на ферме, посвятили ли жизнь священству или монашеству. Во всем, что бы мы ни делали, мы должны всегда искать прежде Царства Божия. То есть все свои повседневные дела мы должны принимать так, словно они исходят от Бога, и вновь возносить их Ему; мы должны совершать их так, чтобы исполнить тем самым Его волю, ибо это единственный путь распространить Царствие Божие на земле.

А потому каждый день мы ощущаем, как это трудно – распространять Царствие Божие посредством собственной жизни, творя Его волю во всем. Никто из тех, кто когда-либо всерьез пытался жить каждый день подобным образом, не скажет, что это просто. Это возможно лишь при поддержке Божией благодати. Эта благодать дается нам всегда, но мы должны научиться распознавать ее в людях и обстоятельствах, ниспосылаемых нам Божиим Промыслом, в мыслях и вдохновении, которые посещают наш разум и наше сердце. Мы знаем, что мы не всегда откликаемся на Божию благодать, ибо эта благодать требует от нас жертвы, отречения от всякого своеволия, а также усилия и неустанного духа преданности, а ничто из этого не дается легко ни молодым, ни усталым взрослым,

ни старикам. И тем не менее именно этого требует распространение Царствия Божия.

Зная, какую малую долю этой благодати мы принимаем и воплощаем в своей собственной жизни, мы можем вообразить себе, сколько благодати отвергают и отталкивают те, кто нас окружает. Тогда мы поймем также, почему в мире сегодня все еще столько зла, греха, насилия, войн, ненависти, безнравственности, гонений на верующих и даже отвержения самого Бога. Все это неизбежно, пока люди отвергают благодать Божию и отказываются творить Божию волю, ибо все это зло является неминуемым следствием такого отказа. Царствие Божие, вновь пришедшее к людям в Воплощении Христа – который пришел, чтобы стать для нас совершеннейшим примером человека, во всем и во всякое время всецело преданного воле Отца, – не может быть и не будет утверждено, пока все люди не станут каждый день своей жизни жить, руководствуясь Его примером.

«Царствие Божие внутри вас есть», – сказал Он нам. Какими же очевидными и в то же время какими глубокими представлялись мне эти слова здесь, в Норильске! Видимая Церковь, которая является отражением Царствия Божия на земле, почти не существовала здесь, на просторах Сибири. Христиане здесь так же, как и я, вынуждены были пытаться служить Богу, будучи со всех сторон окружены атмосферой безверия и безбожия, почти удушающим духом атеистической пропаганды. И все же величайшим моим утешением была несомненная вера тех мужественных христиан, которым я служил, живое свидетельство могущества благодати Божией и существования Его Царствия в этой заброшенной стране. Их вера, их мужество ежедневно вдохновляли меня на то, чтобы жертвовать все свои повседневные поступки, дела и страдания за дело распространения Царствия Божия на земле. Что мог я сделать против миллионов атеистов Советского Союза? Что мог я сделать против могущества и власти советского правительства? Что, в сущности, мог сделать любой из нас против системы, в которой мы

жили, со всеми ее органами пропаганды и возможностями преследования? И все же, произволением Божиим, мы были здесь. Бог избрал для нас именно это место, поставил нас именно в эти условия, именно в такие обстоятельства. Мы могли делать лишь одно – но изо дня в день: искать прежде Царства Божия и правды Его, прежде всего, в своей собственной жизни, затем – в жизни окружающих. Со времен Апостолов – двенадцати простых людей, одиноких и напуганных, которые получили поручение идти по всему миру и возвещать Благою весть о Царствии, – никогда не существовало никакого иного пути распространения Царствия, кроме поступков и жизней отдельных христиан, каждодневно стремящихся исполнять волю Божию.

Глава восемнадцатая

Смирение

Торжество Пасхи навсегда останется моим самым ярким воспоминанием о Норильске; к сожалению, оно послужило также причиной моего отъезда. Предварявшие его недели Великого Поста были из числа самых напряженных, какие мне когда-либо приходилось пережить в своем священническом служении. Отец Виктор и отец Нерон уехали из Норильска, и я остался один, паства же была больше, чем когда-либо прежде. Весь Великий Пост все свое свободное время я посвящал таинствам исповеди и крещения. В Вербное воскресенье я отслужил три Мессы и на каждой из них проповедовал и предупреждал людей, что будут проводиться все службы Страстной недели. После Месс в Вербное воскресенье люди толпились вокруг меня и просили меня о традиционном благословении пасхальной пищи. Поскольку я был один, а дел было так много, я сформировал особый комитет, который должен был отвечать за организацию этого благословения. В специальном блокноте мы набросали карту города Норильска, выбрали определенные места сбора и назначили определенное время: так каждый, кто не может прийти в мой маленький балок, сможет прийти туда в назначенный час, чтобы я благословил его пищу. Когда все организационные вопросы были более или менее решены, я подсчитал, что мне придется начать в пять утра в пятницу, работать круглосуточно, и тогда, можно надеяться, ко времени пасхальной Мессы я закончу.

Всю пятницу, как и все предыдущие вечера после работы я в огромном количестве выслушивал пасхальные исповеди. В пятницу вечером, после богослужения Великой пятницы, я начал свой тур по городу. Куда бы я ни пришел, всюду меня ждали люди – даже среди ночи и в долгие морозные часы раннего утра. Я вернулся в свой

балок субботним утром ко времени шестичасовой службы. Балок был забит людьми, многие из которых пришли еще вечером, чтобы занять на этом долгом пасхальном бдении места перед алтарем. Многие из них не ушли и после субботних богослужений и оставались в часовне до самой Всенощной без единой крохи во рту, лишь бы быть поближе к алтарю. После богослужений я вновь пустился в путь, но каждые несколько часов возвращался в балок, чтобы благословить очередную партию корзин с едой, заново заполнявших мою комнатуху от стены до стены к каждому моему появлению. Я вернулся домой к одиннадцати тридцати вечера в субботу, но едва мог протиснуться к своему балку. Даже коридоры и сени были забиты; люди толпились и на улице, на ночном морозе. Места было так мало, что едва можно было двигаться, но к двенадцати ночи я был облачен – из-за тесноты я не мог поднять руки, поэтому кто-то другой вынужден был натянуть на меня облачение через голову – и готов к Мессе. Алтарь был украшен цветами и свечами; у нас был даже свой хор. Когда я начал петь торжественное начало пасхальной службы, часовня, казалось, взорвалась от музыки. Пасхальное богослужение всегда радостно, но я никогда не забуду воодушевления прихожан в ту ночь. Несмотря на усталость после двух с лишним суток, проведенных без сна, в спешке из одной части города в другую, я почувствовал внезапную бодрость и душевный подъем. Я забыл обо всем, кроме Мессы и пасхального ликования.

Толпа была так велика, что невозможно было раздать причастие, потому что никто не мог пошевелиться. Поэтому причастие пришлось раздавать после Мессы. Богослужение закончилось к трем часам ночи, но в девять часов следующего утра я все еще раздавал причастие не иссякающему потоку людей. Я слышал, как толпа верующих на улице возвращается домой на заре пасхи, и люди обращают друг к другу традиционное пасхальное приветствие: «Христос воскрес!» – а другие радостно восклицают в ответ: «Воистину воскрес!» Когда все наконец закончилось, я в

одиночестве вернулся в свою комнату и сел за маленький столик в своем балке, совершенно обессиленный. И все же я был очень доволен. Я испытал радость, какую мне редко приходилось переживать прежде. Я почувствовал, что наконец-то, по произволению самого Бога, начинает сбываться моя мечта – служить Его пастве в России. «И все это, – была мысль, непрестанно проносившаяся в моем сознании, – произошло в России, в Норильске!»

Однако на следующей же неделе меня прямо с работы вызвали в КГБ. Гебист^[Z] времени даром не терял. Он встретил меня словами: «Владимир Мартынович, ваша миссионерская работа здесь, в Норильске, не требуется. Вам понятно?» Он строго приказал мне взять билет на ближайший рейс в Красноярск и явиться там в КГБ. «Если вы попытаетесь вернуться, вы будете арестованы и посажены в тюрьму. Здесь командую я, и это приказ». Я только смотрел на него и не говорил ни слова. Выдержав долгую паузу, он холодно сказал: «Можете идти». Однако, когда я развернулся, чтобы уйти, он добавил: «Когда возьмете билет, я лично доставлю вас в аэропорт».

Полет из Норильска в Красноярск длится долго, наверное, около четырех часов. Прежде мне никогда не приходилось летать, и, когда самолет взлетел, я испытал страх и напряжение. Я изо всех сил откинулся на спинку сидения и закрыл глаза, стараясь не шевелить ни одним мускулом; рокот моторов отдавался в моей голове, пока у меня не заложило уши, но еще сильнее мне докучало неприятное чувство в желудке. Как только я немного освоился, я стал думать о людях, которых оставил позади, и мне стало грустно оттого, что я ничего больше не могу для них сделать, разве что препоручить их Богу. Я очень старался не давать волю гневу, который сжигал меня с тех пор, как я посетил контору КГБ, и все же меня унижало то, что они могут так помыкать мною, хоть я и считаюсь свободным человеком. Как всегда, я утешал себя той мыслью, что Бог знает, что делает, и все повторял: «Да будет воля Твоя», – но мне было трудно понимать это.

Некоторое время спустя, во время молитвы, меня посетила мысль о том, что творить волю Отца не всегда просто: слова Господа нашего, которые я твердил, были произнесены во время борения в Гефсиманском саду. Так молился сам Христос в ожидании часа величайших испытаний и величайшего Своего унижения. Мы часто используем их как пример послушания, но, в сущности, они представляют собой образец добродетели смирения. Ведь смирение, в конечном счете, основано на простом признании одной основополагающей истины: подлинных взаимоотношений между Богом и человеком. «Смирение есть истина». Это духовное изречение хорошо обобщает сию мысль, ибо смирение есть не больше и не меньше, чем знание своего места пред лицом Бога. Вся жизнь Христа от рождения и до смерти была совершенным актом смирения, которое проистекало из Его всецелого подчинения воле Отца. Своей вершины оно достигло на кресте, где Он умер, униженный и лишенный всего. «Научитесь от Меня, – сказал Он Своим ученикам, – ибо Я кроток и смирен сердцем». Однако, даже имея за плечами богатый опыт духовной жизни, редко кто из нас бывает смирен, когда его унижают. И, чтобы когда-нибудь научиться этому, мы непрестанно должны напоминать себе о смиренном Христе, о Христе, который всегда творил волю Отца.

С возмущением относиться к унижению только естественно. Мы испытываем отвращение к унижению, потому что оно оскорбляет достоинство нашей личности, другими словами, ранит нашу гордость. В этом ключ к проблеме. И в такие моменты не мешает вспомнить, кто такие мы и кто такой Бог. Если за опытом унижения мы не видим ничего, кроме боли и неприятных ощущений, то только оттого, что потеряли из виду – по крайней мере, на этот миг – волю Божию и Промысел Божий. Ибо источник унижения – те обстоятельства, ситуации и люди, которыми Бог окружает нас ежедневно, а все это – проявления Его Промысла. Поэтому мы должны научиться видеть во всем этом – даже в унижениях – возможность глубже подчиниться воле Божией. Творя волю Отца,

Христос вынужден был терпеть вражду, противоречия и – о, да! – унижения, и все же Он всегда был готов забыть о Себе всецело и Своими делами прославлять Отца. Чтобы наша жизнь стала подлинным подражанием Христу, мы тоже должны научиться этому.

Мы должны непрестанно возвращаться к той катехетической истине, которой учились детьми: мы созданы Богом для того, чтобы любить Его, почитать и служить Ему в этой жизни, дабы обрести с Ним блаженство в жизни будущей. Мы спасаемся не тем, что творим свою собственную волю, но тем, что творим волю Отца; мы творим ее, не истолковывая ее по-своему и не приписывая ей тот смысл, который нравится нам, но принимая ее во всей полноте, такой, какой нам являют ее ситуации, обстоятельства и люди, ниспосылаемые Его Промыслом. Это так просто и в то же время так сложно. Каждый день, каждая минута дается нам Богом именно с этой целью. Мы же, со своей стороны, можем принимать и вновь возносить Богу всякую молитву, всякое дело, всякое страдание всякого дня, какими бы незначительными и прозаичными они нам ни казались. И все же именно потому, что наши повседневные обстоятельства зачастую кажутся такими незначительными и прозаичными, мы так часто не делаем этого. Именно потому, что наша повседневная жизнь на первый взгляд так ничтожна и прозаична, от нас, со всеми нашими благими намерениями, все время ускользает осознание того, что все это тоже – знамения воли Божией. Однако в отношениях между Богом и человеческой душой не бывает маловажных моментов; в этом тайна Божия Промысла.

И каждый день в окружающей нас жизни мы видим тому примеры. Молодые люди, которые собираются пожениться, выбирают профессию или решаются последовать призванию к священству или монашеству, переживают такое воодушевление и внутренний подъем, каких никогда не знали прежде. Потом годы идут, трудностей становится все больше, и от человека непрестанно требуются все новые жертвы и духовное обновление, чтобы оставаться верным некогда данному обещанию или обету. И вот

тогда начинается настоящее испытание нашего смирения – сознания своего места пред лицом Божиим. Тогда трудности, связанные с нашим призванием, становятся бременем. «Иго Мое благо, и бремя Мое легко», – сказал Христос, но бремя повседневной жизни, самопожертвования, самоотречения и унижения может быть таковым только в том случае, если мы видим в нем изъявление воли Божией. Возможно ли что-то более утешительное, чем способность видеть в бремени или в унижении не только бремя и унижение, но волю Божию, которую Бог вверяет нам в этот миг? Если у меня есть такая способность, то, какими бы тяжелыми и мучительными ни были мое бремя или мои тяготы, я смогу нести их в духе, который воистину способен сделать их легкими, ибо осознание того, что они исходят от Бога и представляют собой Его волю, несет с собой чувство воодушевления, достигнутого, значимости, дающее сердцу радость и утешение.

Но, к сожалению, те, кто утратил подлинное чувство смирения – этого непрестанного осознания взаимоотношений между каждым человеком и Богом, – утратили тем самым и способность так смотреть на свое бремя. Вместо того они видят только само бремя, тяготы, унижения; и это повергает их в уныние. Они начинают жалеть себя, многое подвергать сомнению в своей семейной жизни или в своем призвании, которое прежде они так высоко ценили. Жертва, труд и самоотверженность кажутся лишенными смысла; милосердие, терпение и любовь становятся пустыми словами. Теперь они начинают сомневаться даже в разумности или в действительности своего первоначального решения, принимаются искать освобождения или какого-то пути назад. Возможно, они обосновывают свои действия научными или психологическими данными или доводами о том, что мир меняется, и теперь другие времена. Но в конечном счете, они пытаются оправдать ту радикальную перемену в самих себе, которая и довела их до состояния внутреннего кризиса, кризиса призвания, которое они некогда избрали с такой радостью и воодушевлением.

Как все это может произойти так внезапно, в такое, казалось бы, короткое время? Ответ кроется в утрате добродетели смирения, в утрате осознания того, сколь важна наша жизнь в глазах Божиих, в утрате способности видеть, что все исходит от Бога. Как только эта способность утрачивается, наше эгоистическое «я» начинает едва уловимо обретать всё большую важность, а воля Божия начинает утрачивать значение. Не неудачи, ошибки и грехи как таковые приводят нас к этому, но недостаток смирения. Смиранный же человек, как бы тяжелы ни были его падения, всегда сможет примириться с Богом и начать все заново, ибо его смирение говорит ему о его полной зависимости от Бога.

В этом состоит разница между подлинно смиренным человеком и тем, кому смирения недостает. Первый видит вину за неполадки в своей жизни, свои грехи и ошибки в себе самом и старается вновь обрести верность воле Божией. Последний далек от того, чтобы винить в своих падениях и ошибках самого себя, пытается найти своим поступкам то или иное оправдание и упорствует в тех самых делах, которые медленно отчуждают его от Бога и его призвания. Даже в угрызениях совести, которые его беспокоят, он видит не благодать Божию, которая может привести его обратно, но истолковывает их как знаки того, что первоначальное его решение последовать тому или иному призванию было ошибкой.

Итак, я сидел в самолете, направлявшемся в Красноярск, спрашивая себя, почему я вдруг ощутил такое негодование, когда мне пришлось покинуть свой «приход» в Норильске. Произошло ли это оттого, что приказ КГБ покинуть Норильск меня унижил? Почему после всех многолетних попыток узреть волю Божию во всех поворотах и перипетиях моей судьбы, происходивших вопреки моим собственным мечтам и намерениям (порой реальность была прямо противоположна моим намерениям и замыслам), после долгих лет, постепенно ведших меня к способности видеть десницу Божию и Его Промысел в странных и зачастую горьких событиях, которые мне приходилось переживать, я не мог представить или

понять, что и эта перемена от Бога? «Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших». Сколько раз мне в конце концов удавалось понять это, размышляя о собственном опыте! Сколько раз я решался всегда стараться видеть во всем Его волю! Неужели же теперь я не решусь принять этот внезапный конец своего апостольства в Норильске, потому что мне с моей человеческой мудростью он кажется бессмысленным?

Действительно ли причиной моего огорчения была тревога за тех мужественных христиан, которых я оставил позади? Или же то было мое личное разочарование, вызванное тем, что моему первому действительно стоящему священническому опыту пришел конец как раз тогда, когда все, казалось, шло так хорошо? Воображал ли я себе, боялся ли я, что Бог не сыщет никакой иной возможности позаботиться о Своем народе? «Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду», – сказал Господь наш Петру. – Ты иди за Мною». Христос позвал Петра, но Петр беспокоился об Иоанне. Теперь же Христос через КГБ звал меня покинуть Норильск. Почему же я должен сомневаться, что Он найдет способ позаботиться о них, пока я не приду? Прежде всего мне следует заботиться не об этом, но о том, чтобы верно следовать за Ним, куда бы Он меня ни вел, всегда видеть Его волю в событиях моей жизни и верно исполнять ее без сомнений и колебаний.

Да, я был разочарован. Нет, у меня не было ответов на все беспокоившие меня вопросы, и я не мог до конца разобраться в тех мыслях, которые заполняли мой ум, по мере того, как самолет приближался к Красноярску, но я знал одно: я давно решил стремиться всегда и во всем видеть Его волю. Я пообещал полностью отдаться Его Промыслу. Начинался новый день, быть может, новая страница моей миссии по распространению Царствия, и моя задача была в том, чтобы принять ситуации и обстоятельства этого нового дня, ни о чем не спрашивая и не оглядываясь назад. Теперь – после всего, что я познал и постиг о таинственных путях Промысла Божия,

– не время было отвергать действие Его благодати и Его воли. Моя задача сегодня, как и всегда, была в том, чтобы довериться без сомнений и колебаний премудрости Его воли, принять ее с благоговением, не пытаясь заставить ее совпадать с моей собственной волей или до конца постигнуть ее своим ограниченным человеческим разумом; в том, чтобы вновь отдаться без остатка с полным упованием и доверием таинственному действию Его благодати и Его мудрости.

Моя жизнь, как и жизнь Христа – если священство мое что-нибудь да значило, – была в том, чтобы всегда творить волю Отца. Я нуждался в смирении: в благодати осознания своего места пред лицом Божиим – не только тогда, когда все идет хорошо, как это было в Норильске, но – даже в большей мере – и тогда, когда приходят сомнения и разочарования, как сегодня, когда все идет не так, как я желал или планировал. Это и значит быть смиренным – учиться принимать разочарования и даже поражения как ниспосланные Богом, учиться стойко переносить эти неудачи, терпеливо храня внутренний покой и упование на Бога и твердо зная, что свершается нечто важное, ибо жизнь наша движима волей Божией и мы стараемся, как только можем, принимать и исполнять ее.

Ибо для Промысла Божия важнее всего не сам человек и не его дела, но то, что человек этот каждый день приемлет в уповании и исполняет в полную меру своих возможностей то, что Бог для него избрал. Ибо «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, – говорит св. Павел, – и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное». То, что Бог может избирать Своим орудием меня, такого упрямого, порой глупого, с массой недостатков, было одной из истин, которую я постиг путем проб и ошибок, страданий и поражений, и теперь не время было отступаться от этого. Смирение состоит в том, чтобы научиться осознавать эти отношения всегда; мы должны вновь и вновь напоминать себе об этом, ибо гордая человеческая природа может слишком легко склонить нас к мысли,

что то или иное достижение – плод наших собственных усилий и трудов. И как только нам начинает изменять наше смирение, мы начинаем терять из вида Господа и Его благодать и в какой-то степени исключать Его из своей жизни.

А потому благодари Бога, говорил я себе, за то, что Он настолько любит тебя и печется о тебе, что ниспосылает тебе унижения. Благодарю Его за то, что дал тебе КГБ, дабы тебе не пришло в голову, что Пасха в Норильске была в каком-то смысле твоим собственным достижением. Это Бог посеял семя в сердцах этих людей, а отец Виктор и отец Нерон орошали его, и лишь потому, что Произволением Божиим в то время ты оказался там, плоды и утешение тех дней достались тебе. Так утешайся же, дурак, сказал я себе, но не давай себя одурачить! Ведь Бог, который дал тебе эту радость, чтобы укрепить и утешить тебя, – тот же Бог, который ныне распорядился, чтобы тебя так внезапно и так унижительно вынудили покинуть эту сцену, дабы напомнить тебе еще раз, что на этой земле всем движет Его Промысел, а не человеческие усилия. То было вчера, а сегодня – это сегодня. Ты ничего бы еще не сделал в Советском Союзе, не будь на то Его благодати и Его воли; всякий раз, когда ты пытался сделать что-то сам, заранее что-то планировать, заблаговременно находить ответы, твои усилия увенчивались полнейшим провалом, и тебе приходилось заново учиться искать волю Божию во всех событиях и обстоятельствах. Не пора ли уже научиться? Не пора ли уже научиться быть кротким и смиренным сердцем, отказываться от своей собственной воли и стараться творить волю Божию, искать прежде Царства Божия и правды Его – и не тревожиться о том, куда несет тебя этот самолет, что ждет тебя там и что ты оставил позади?

Глава девятнадцатая

Вера

Через неделю после прибытия в Красноярск я «унаследовал» приход, и то, как это случилось, лишний раз утвердило меня в моем доверии к Промыслу Божию и в моем изумлении перед Его действием. Я пошел в милицию, чтобы зарегистрироваться, согласно распоряжению начальника норильского управления КГБ, и повстречал там одного старого литовца. Он догадался, вероятно, по моему акценту, что я нерусский, и спросил меня о моей национальности. Я ответил, что я поляк. Он спросил, не католик ли я. Довольно настороженно – ибо мне казалось, что отделение милиции – не самое подходящее место для обсуждения подобных вопросов, особенно для меня, – я ответил ему утвердительно. Он спросил меня, не знаю ли я каких-нибудь священников. Не успел я ответить, как он рассказал мне, что он прихожанин одной церкви в предместье Красноярска. В церкви много прихожан, сказал он, но священник на прошлой неделе умер. И теперь они отчаянно ищут нового.

На мгновение мне пришло в голову, что это, быть может, какая-то ловушка, подстроенная КГБ; тем не менее, я проговорил со старым литовцем долго и согласился пойти с ним и познакомиться с некоторыми другими прихожанами. Я пока не говорил ему, что я священник, но про себя не мог не удивляться тому, как Бог распоряжается нашей жизнью. У этого прихода на окраине города была даже своя собственная церковь, большое, одноэтажное, похожее на барак здание. Вся внутренность представляла собой часовню. Это было длинное, с высокими потолками, помещение, где могло разместиться более двухсот человек. Здесь был прекрасной работы алтарь, стояния крестного пути вдоль стен и с одной стороны – исповедальня – как в любой приходской церкви в мире. За

престолом была сакристия, а за сакристией – жилая комната для священника. Я был так восхищен, что мне хотелось поселиться там немедленно!

Прихожане все твердили мне, как сильно им нужен священник, и не только по религиозным, но и по политическим причинам: городские власти уже поговаривали о том, чтобы забрать у них церковное здание и использовать его в других целях, на том основании, что у прихожан нет священника и взять его негде. Поэтому, когда я наконец сказал прихожанам, что я священник они были вне себя от радости. Но я рассказал им также и о своем столкновении с КГБ в Норильске и предупредил их, что за мной, несомненно, будут пристально следить и здесь, в Красноярске. Мой рассказ их вовсе не беспокоил; они умоляли меня остаться в их приходе и стать их священником и, когда я согласился, попросили меня тут же, не сходя с места, возглавить благодарственную молитву за то, что Бог внял их мольбам и послал им священника. Я исполнил их просьбу в большом волнении, почти в слезах, и первая небольшая проповедь, которую я произнес для них в тот день, была посвящена Промыслу Божию.

Прихожане и слышать не желали о моих поисках работы; они рассказывали мне о том, как много дел в приходе, и обещали взять на себя заботу обо всех моих нуждах. Кроме того, им нужен был священник, для которого работа в церкви была бы единственной. Они собирались направить в Горсовет петицию, в которой говорилось бы о том, что священник у них уже есть, а потому они просят оставить им церковь. Честно говоря, этот шаг вызывал у меня опасения. Я знал, что городские власти захотят узнать, кто этот священник и откуда он взялся; я был уверен, что при подобных обстоятельствах мое пребывание в Красноярске не продлится долго. Но разубедить прихожан было невозможно – а после всех дел Божией благодати, только что свершившихся на моих глазах, не мне было с ними спорить.

Они составили петицию и попросили о встрече с главой Горсовета. Однако он не дал им прямого ответа и не подписал необходимый документ; он утверждал, что это решение должна принимать Москва. Нимало не смутившись, прихожане решили послать в Москву делегацию со своей петицией. Я был поражен их смелостью и несколько даже смущен их верой; в сущности, мне было стыдно сознавать, что в некоторых отношениях их вера больше моей. Они ни минуты не сомневались, что Бог позаботится о положительном ответе на их петицию – так же, как внял их молитвам о новом священнике. И они не боялись предстать перед Горсоветом и даже перед Кремлем, свидетельствуя о своей вере. Они знали, как знали люди во всем Советском Союзе, что их действия могут стоить им рабочего места и даже повлечь за собой более серьезные последствия, и все же они ни минуты не сомневались в своих поступках.

Чем объяснить подобную веру в стране, где атеизм и страх в порядке вещей? Этому невозможно найти никакого объяснения, кроме традиционного: эта вера была даром Божиим, как и вообще всякая вера. Бог был для этих людей реальностью – реальностью, которой они были верны и которую ставили выше всех других личных соображений. Их вера была для них в буквальном смысле вопросом жизни и смерти. Они готовы были пожертвовать ради нее всем остальным. Но религия заключалась для них не в доктринах, не в правилах, не в обычаях; она заключалась в вере и глубоких убеждениях. Для них Бог был столь же реален, как отец, брат или лучший друг. Они прибегали к Нему, когда им приходилось трудно, уповали на Него, боялись Его суда над их прегрешениями и скорее согласились бы потерять все на свете, чем оскорбить Его.

Нет, они не были совершенны – ни как люди, ни как христиане; они не были святыми, но вера их была делом принципа и повседневной действительностью их жизни. Они не говорили о ней, но она проявлялась в том, как они подходили к проблемам повседневности, как говорили, как рассуждали и как реагировали на

все происходящее. Их вера была проста и детски непосредственна. То была как раз та вера, которую Господь в Евангелиях превозносил столь красноречиво, всякий раз, когда встречал ее. «И в Израиле не нашел Я такой веры», – сказал Он сотнику. Так и я чувствовал себя здесь, в этом красноярском приходе.

Возможно, их вера была старомодна. Для этих людей средоточием веры была Церковь с ее таинствами, обрядами, новеннами и молитвами. Возможно, они были не слишком искушены в вере, и некоторые из их представлений о добре и зле, о грехе и покаянии, о страдании и искуплении, о смерти и воскресении, о благодати и таинствах не удовлетворили бы более разборчивого богослова, чем я. Но в то же время то была вера, испытанная и очищенная огнем постоянных преследований исподтишка, подвергавшаяся со всех сторон и на всех уровнях нападкам и насмешкам пропагандистов, – и все же она выстояла. Для этих людей она была слишком драгоценна, чтобы можно было променять ее на социальный успех, на лучшую работу или даже на лучшее образование для детей, которых они очень любили. Для них вера была образом жизни; она была средоточием их жизни, каждого их дня, всех их дел. Они редко обсуждали ее или спорили о ней с другими; наверно, если бы они попытались объяснить свои убеждения, это им не слишком бы удалось, но она была в самом центре их существа; они веровали в Бога и в Его Церковь. Они уповали на Него, прибегали к нему в трудную минуту, возносили Ему благодарения в минуту счастья и были уверены, что пребудут с Ним в вечности.

Разумеется, это вера общая для всех нас. Мы не заслужили ее – нам даровал ее Бог, – но сохраним мы ее или потеряем, зависит от нас. Мы можем дорожить ею или принимать ее как должное, а если мы станем принимать ее как должное, то наверняка потеряем ее. А потому мы, напротив, должны стремиться относиться к ней все более сознательно, ревновать о ней и беречь ее, подобно тому как с ветхозаветных времен до наших дней дорожили ею евреи, по сей день ревниво хранящие свое избранничество; подобно тому как

берегли и хранили свою веру эти простые христиане из Красноярска. Мы должны превратить ее в негласный принцип, руководящий каждым нашим поступком, в средоточие нашего бытия и всех дел каждого нашего дня. Она должна стать для нас такой же реальной, такой же жизненно необходимой, как воздух, которым мы дышим, ибо без нее наша жизнь не имеет смысла, а душа может умереть. Мы должны постоянно укреплять ее и руководствоваться ею во всем, что делаем.

Думаю, что вернейшим путем к этому является молитва. В молитве мы говорим с Богом, мы просим Его о помощи, ищем Его прощения или обещаем исправить свои ошибки, благодарим Его за обретенные милости. Но мы не можем молиться так, словно говорим с пустым местом, поэтому самым актом молитвы мы невольно напоминаем себе о существовании и присутствии Бога, тем укрепляя свою веру в Него. А потому – это вновь мое мнение – Утреннее приношение и поныне остается одним из самых лучших молитвенных обычаев – пусть оно и представляется кому-то устаревшим. Ведь в этой молитве в начале каждого дня мы принимаем от Бога и вновь возносим Ему все моления, дела и страдания предстоящего дня и тем самым вновь напоминаем себе о Его Промысле и Его Царствии. Если бы только мы могли весь день осознавать Его присутствие, как сильно это изменило бы нашу жизнь и жизнь всех окружающих! Мы не можем молиться всегда, подобно тем созерцателям, которые посвящают всю свою жизнь молитве и покаянию. Мы также не можем весь день напролет ходить погруженные в свои мысли, думая только о Боге и пренебрегая своим долгом перед окружающими, перед семьей и друзьями и теми, перед кем мы в ответе. Но мы *можем* молиться всегда, вознося Богу каждый свой поступок, дело и страдание, ибо тем самым мы превращаем их в молитву.

Кроме того, мы не одиноки в своей вере. Мы – члены Церкви, Мистического Тела, Царствия Божия на земле. Мы вошли в Церковь через крещение – таинство жизни и веры, – и именно в Церкви и

через Церковь Христос дарует нам средства укрепления нашей веры: Свои таинства. Они были установлены Христом именно для того, чтобы укреплять веру Его учеников. Если мы действительно хотим сохранить *свою* веру, мы непременно должны прибегать к ним, в особенности же к таинству покаяния – средству нашего примирения с собой и с Богом, а также к Мессе и таинству Евхаристии.

И все же Церковь – не просто система таинств: это община верующих, Мистическое Тело, Царствие Божие здесь, на земле. И, как члены сего Тела, мы не можем оставаться равнодушными и безучастными к другим его членам или к благу всего Тела в целом. Каждый из нас должен вносить свою лепту в укрепление этого Тела и распространение этого Царствия. А потому частная жизнь каждого из нас не может протекать в отрыве от Церкви. Переживаем ли мы кризис в своей собственной жизни, чувствуем ли порой, что другие христиане нас отталкивают, мы наносим вред и самим себе, и Мистическому Телу Христову, если при этом покидаем Церковь. Какова бы ни была проблема, у нас есть обязанность, проистекающая из объединяющей всех нас веры, – обязанность искать ее решение в Церкви, а не вне ее. Мы просто не можем отделить свою собственную жизнь от жизни Христа, или от Тела, где Он – Глава, по причине чувства личной неудовлетворенности или обиды. Мы не можем наивно ссылаться на то, что Бога можно найти везде, что можно служить Ему, любить Его и взывать к Нему как к Спасителю, – и одновременно пренебрегать основанной Им Церковью. Церковь полна человеческих изъянов, потому что состоит из людей; и здесь случаются скандалы, и здесь встречаются плохие наставники – весьма среднего ума, эгоистичные и духовно неглубокие, и здесь есть подверженные ошибкам, далекие от совершенства люди, которые не всегда делают то, что проповедуют. Но несмотря ни на что Церковь остается установлением, созданным Христом для хранения веры, Мистическим Телом, внутри которого даже слабые могут стать сильными.

Человек верующий всегда чувствует Бога, не только в своей собственной жизни, но и в жизни других людей. Это основание подлинного милосердия, той великой заповеди, которая учит нас «любить Бога всем сердцем своим, всею душою своею, всем разумением своим, и ближнего своего, как самого себя». Итак, вера – основа любви; именно вера дает нам прозрение, позволяющее уразуметь отцовство Бога и братство всех людей. Любовь, вновь и вновь повторяет св. Иоанн, есть исполнение заповедей и закона. Но превыше любви ее стержень – вера. Прежде, чем мы возлюбим, у нас должна быть вера, или же мы, несомненно, возлюбим не то: самих себя возлюбим больше, чем Бога, или же возлюбим тварь ради нее самой – а это и есть грех. Чтобы возрасть в любви, чтобы любить должным образом, мы должны непрестанно стремиться возрасть в вере, а это достигается посредством молитвы и таинств.

Сам Иисус, несмотря на всю напряженность Своего общественного служения, порой уходил от Своих учеников и удалялся на гору, чтобы помолиться. И мы должны следовать Его примеру, если желаем хранить и укреплять свою веру, никогда не упускать из виду то обстоятельство, что вся наша жизнь от Бога и является восхождением к Богу, и всегда быть внимательными к Его воле во всех своих делах. В молитве мы предаем Богу все, что происходит в нашей жизни каждый день, и хорошее, и плохое. Ибо нет никакой разницы между человеком верующим и человеком неверующим (или маловерным) в том, что касается повседневных переживаний, через которые каждый из нас проходит в любой миг своей жизни, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем и год за годом. Внешне наша жизнь мало чем отличается от жизни окружающих; отличает же нас – *должна* отличать – вера, вдохновляющая любое наше решение, выбор, поступок. Без веры любая жизнь – лишь пустая, нудная повседневность с полой сердцевинкой, вереница сменяющих друг друга дней, почти лишенных смысла и каких-либо достижений. С верой же даже самые нудные и будничные

повседневные дела обретают достоинство и смысл – как для нас самих, так и для Царствия Божия.

В любой жизни бывают переломные времена, времена страха и тревоги, разочарований и вражды, порой даже ужаса. Распространение Царства Христова – сего Царства правды и мира, любви и истины – еще не завершено здесь, на земле; оно началось, но многое еще нужно сделать, прежде чем оно достигнет своей полноты, и вся тварь будет обновлена согласно замыслу Отца. И, словно плевелы среди пшеницы, рядом со справедливостью все еще существует зло, рядом с любовью – ненависть, рядом с хорошим – плохое, рядом с праведником – грешник. А потому никто из нас не в состоянии избежать противоречий этого несовершенного мира – ни грешник, ни святой, ни злой, ни добрый, ни слабый, ни сильный, ни больной, ни здоровый, ни простак, ни ученый, ни равнодушный, ни ревностный. Лишь посредством живой веры человек может научиться жить в покое среди всех противоречий этого мира, когда бы они ни проявились и каковы бы ни были, ибо он знает, что с ним – Бог. Среди страданий, неудач и даже греха, когда он чувствует себя заблудшим или сокрушенным искушениями и страхом, его вера все равно напоминает ему о Боге. Вера научила его подниматься над обстоятельствами этой жизни и не сводить глаз с Бога, от которого он ожидает благодати и помощи, в каковых он нуждается, каким бы недостойным он себя ни чувствовал.

Итак, вера есть ось нашего нравственного и духовного равновесия. Проблемы зла и греха, несправедливости, страданий и даже смерти не могут сломить верующего или поколебать его доверие к Богу. Бессилие разрешить эти проблемы не станет для него источником уныния и отчаяния, как бы ни тревожился он и ни боялся за себя и за окружающих. В центре его существа живет непоколебимая уверенность в том, что Бог позаботится о нем на таинственных путях Своего Божественного Промысла.

И в тоже время вера учит его и тому, что он не может оставаться безучастным, не может просто пожать плечами и сказать: «Бог

позаботится». Он знает, что он должен, говоря словами одной духовной максимы, «поступать так, словно все зависит от него, и молиться так, словно все зависит от Бога». Он понимает, что Царствие Божие пришло на землю в Воплощении. Ведь именно в тайне Воплощения Бог стал человеком, дабы подать нам совершеннейший пример – и этим примером научить нас распространять Царство Его на земле. Царствие Божие будет возрастать на земле и достигнет своей полноты подобно тому, как было установлено: посредством повседневной и, на первый взгляд, незаметной жизни тех, кто всегда творит волю Отца.

Эта-то вера и впечатляла меня так сильно в христианах Красноярска и в других верующих, которых я встречал в Советском Союзе: в православных, в баптистах, в евангельских христианах и в приверженцах самых разных религиозных групп, с которыми мне приходилось общаться. Несмотря на все препятствия, всевозможные формы подспудного давления и юридические ограничения, они тем не менее сохранили свою веру в Бога и все, что она подразумевает на деле. Я знаю, что их молитвы и их страдания – лишь предзнаменование будущих плодов веры на этой земле, известной некогда под именем Святая Русь. Царствие Божие стоит и распространяется благодаря деятельной и незыблемой вере таких людей; хранится оно и в сердцах народа, который инстинктивно чувствует, что в жизни должно быть нечто большее, нежели обещанное коммунистами светлое будущее. Никто не знает лучше тех, кто непрестанно атакует эту веру, как глубоко и прочно укоренено ее семя в России; и только Богу в Его Промысле ведомо, как скоро она расцветет.

Глава двадцатая

Человечность

Мое пребывание в Красноярском приходе продлилось недолго. Однажды, в час ночи ко мне явились сотрудники КГБ и дали мне сорок восемь часов, чтобы покинуть город. Они не тратили времени на объяснения и споры. Они лишь аннулировали мое разрешение проживать в Красноярске, поставив на нем специальную печать, и сказали мне, что меня арестуют, если через два дня я все еще буду здесь. Они игнорировали мои вопросы и совершали все процедуры очень по-деловому, в основном молча. Когда они закончили, главный гебист сказал мне холодно и четко: «Владимир Мартынович, мы вас предупреждали не однажды, и это ваш последний шанс. Вы можете ехать или в Абакан, или в Енисейск. Это все». Я никогда не слышал ни об одном из этих городов, но он сказал мне, что Енисейск в Северной Сибири, а Абакан – в Южной. Северной Сибирью я был уже сыт по горло, а потому выбрал Абакан. «Прекрасно, – сказал он, – теперь позвольте мне объяснить вам одну вещь: в Абакане вы не будете заниматься тем, чем занимались здесь и в Норильске, иначе кончите там, где начинали. Я ясно выражаюсь?» Он ничего не сказал о священстве или о религии, но мы оба прекрасно понимали, о чем идет речь.

Поэтому, приехав в Абакан, я устроился на работу в городскую автотранспортную контору, АТК-50, и снял комнату в доме одного инвалида и его жены. По иронии, человек этот до болезни был секретарем Горсовета и партработником и до сих пор оставался убежденным коммунистом. Однако, поскольку он был инвалид и жил на небольшую пенсию, они с женой были очень рады сдать мне свою свободную комнату, чтобы как-то пополнить семейный бюджет, несмотря на то, что я несколько туманно говорил о том, как и почему оказался в Абакане и как долго здесь пробуду.

Я жил с ним и его женой больше двух лет, пока однажды он не сказал мне со смущением и досадой, что его старые друзья по Горсовету интересуются мной и «намекают», что некрасиво партийному человеку держать у себя в доме такого человека, как я. К тому времени мы очень подружились, и ему было очень стыдно просить меня съехать; но он боялся лишиться места в партии и своей скудной пенсии. Однако к тому времени у меня было уже много друзей по соседству, и нам не составило большого труда устроить так, чтобы я поселился у соседей моих прежних хозяев, которые также были моими хорошими друзьями. Такое решение очень меня обрадовало, потому что я успел полюбить этих людей, относившихся ко мне, как к члену семьи, и был счастлив остаться рядом с ними. Кроме того, на новом месте легче было уединяться, а потому здесь проще было каждый день служить Мессе, не боясь помех. Когда заканчивалась моя смена в АТК, дома, как правило, никого не было кроме «бабушки», поэтому обычно перед ужином у меня была возможность совершить Мессу и спокойно помолиться. Мы с «бабушкой» быстро стали большими друзьями, и, по вечерам, когда я возвращался домой, меня всегда ждала тарелка горячего супа или каши.

Эти годы в Абакане впервые дали мне возможность близко познакомиться с повседневной и семейной жизнью в Советском Союзе. Я много часов провел в беседах с членами этих семей и их друзьями и познакомился с представителями всех слоев населения: от рабочих, с которыми я познакомился в АТК или где-то еще, до партработников, которые частенько заходили поболтать со своим старым коллегой по Горсовету. Дом его, в сущности, был местом всевозможных встреч, и гости шли сюда нескончаемой чередой. Это было удобно и для меня: люди могли приходить ко мне и говорить со мной с глазу на глаз о религии, не привлекая к себе или ко мне особого внимания, потому что здесь и так непрестанно сновали посетители. Поначалу здесь, в Абакане, я очень тщательно избегал любых упоминаний о том, что я священник и участия в любом роде

апостольства. Но мало-помалу это стало известно: один говорил другому, другой третьему, и вскоре у меня вновь было много работы. Однако занятия мои носили неформальный характер, и работал я не с большими группами верующих, а с отдельными людьми или с семейными парами. Я давал советы, наставлял, исповедовал, крестил детей, соборовал больных и умирающих. И вновь меня поражала вера и постоянство этих людей и жертвы, на которые они готовы были пойти за свою веру. И я полюбил этих русских людей еще сильнее, чем прежде.

Средний советский гражданин верит не всей пропаганде. Как и всякий человек, он жаждет более насыщенной и полной жизни, он ищет в жизни более глубокого смысла, нежели материальные блага, которые обещает (но пока не дает) ему коммунизм, или «великая революция» и строительство идеального социалистического общества. Он гордится достижениями своей страны, он гордится тем, что было достигнуто последними поколениями всего за несколько десятилетий, и в общем-то принимает как должное систему, в которой живет. Но его и его друзей тревожат те же проблемы, что и всех людей на свете, и они ищут на них ответов. Они не уверены в том, что ответ можно найти в религии, более того, относятся к религии и к церквям с подозрением, но они ищут более удовлетворительных ответов на свои внутренние вопросы и потребности, чем те, что дает им коммунизм.

По самой природе своей идеологии коммунизм озабочен вопросом гуманности; на достижение этой цели направлены все его усилия. Ни одна система в мире не ставит человека так высоко, как коммунизм, по крайней мере в теории и в пропаганде. Литература, культура, образование, труд, наука, право, медицина и все богатства страны должны служить благу людей. Повсюду можно увидеть лозунги, гласящие: «Все для человека». Часто цитируется высказывание Горького о том, что «человек – это звучит гордо», и детям в школах и рабочим на заводах и фабриках постоянно твердят, что в мире нет ничего более драгоценного чем существо,

чье имя – Человек. На этой почве возникла целое новое морально-этическое учение, пронизывающее новый социальный строй. Когда власти или товарищи делают человеку выговор за какой-нибудь недостаток или плохой поступок, они напоминают провинившемуся о его обязанности быть человеческим, сознательным честным, человеком слова. Представления об этих основополагающих свойствах человеческой природы постоянно, с яростным упорством, внушаются здесь и детям, и взрослым. Коммунист, представитель нового общественного строя, должен быть лучше всех других людей, ведь от него зависит обращение всего мира в коммунизм, который есть свобода, братство и справедливость для всех.

Правительство и партия используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы воспитать граждан в этом новом духе коммунизма. Все средства массовой информации, театры, литература, школы, профсоюзы и клубы, которые именно с этой целью строятся по всей стране, подчеркивают одну и ту же тему. Даже развлечения и искусство зачастую не свободны от этих порой надоедливых напоминаний и о добродетелях нового человека коммунизма: о благородстве борьбы за общее дело, о необходимости быть честным и законопослушным, о братстве и необходимости по-братски критиковать своих товарищей и прислушиваться к критике с их стороны. Превозносятся высокие идеи человеколюбия и милосердия; эгоизм, лень и жадность порицаются как худшие враги. Цель же в том, чтобы добиться блага для всех, сделать для человечества то, чего до сих пор никому не удавалось.

Разумеется, такая непрерывная пропаганда приносит свои плоды. Одно из ее явных достижений – чувство товарищества, какого не встретишь нигде больше. Еще одно – совершенно искренняя гордость людей за свои достижения, будь то выполнение пятилетнего плана, строительство новой плотины или фабрики, богатый урожай или просто выполнение своей дневной рабочей нормы. Осознание того, что человек некоторым образом обогатил

свою родину, дает ему чувство сопричастности общему делу и гордости за систему. Советские люди не понимают капитализм и не скрывают этого. Целыми поколениями они слышат славословия в адрес своего строя и его достижений, и они поверили в него; они просто принимают его как должное и думают, что все так, как и должно быть. И это неудивительно. На Западе тот же эффект достигается рекламой всевозможной новой продукции: машин, домов, мыла, дезодорантов, стилей и даже порнографии. Американский образ жизни рисуется в ярких красках, и люди начинают верить в то, что все это им действительно нужно, причем до такой степени, что готовы влезть в долги или взять ссуду, лишь бы иметь все последние новинки и чувствовать, что идут в ногу с последней модой или новейшими изобретениями.

И все же ничто из этого не способно по-настоящему удовлетворить человека. Наверно, цели и предпосылки, о которых так часто говорится, принимаются человеком рефлекторно, бессознательно, но остается еще туманное и, возможно, столь же бессознательно чувство, что в жизни должно быть нечто большее, чем материальные блага и достижения, личные или коллективные. С обычными рабочими, с мужьями и женами, со стариками и старухами, с простыми людьми и с самыми искушенными из коммунистов мне приходилось вновь и вновь обсуждать смысл жизни и вопросы нравственности. Мне не было нужды начинать эти разговоры; постоянно повторяемого лозунга «Все для человека» (коммунистического эквивалента телевизионной рекламы), репортажа из программы новостей, документального фильма, а то и просто какой-нибудь программы о культуре или развлекательной передачи было достаточно, чтобы дискуссия началась сама собой.

Развитие человечества, абстрактное понятие гуманности или возвышенная идея человека – все это очень хрупкие идеалы, которые легко теряют способность вдохновлять или духовно удовлетворять человека в условиях обыденности и беспросветного однообразия повседневной жизни. Можно на время посвятить себя

служению страждущему человечеству, можно поставить себе целью идею братства и вдохновляться ею, но человеческая природа такова, а недостатков у людей так много, что человеку трудно удерживать и длить эти моменты вдохновения, если их не питает нечто более глубокое и значительное. В марксистской идеологии, в атеистическом коммунизме существует лишь человек и материальный мир; помимо этого есть только туманное представление о каком-то идеальном обществе будущего, о какой-то более высокой и лучшей ступени развития человечества, каковой оно достигнет, когда придет некий золотой век, точную дату наступления которого давно отказались назвать даже самые убежденные доктринеры и апологеты коммунизма. Нынешние коммунисты вдруг оказались в положении христиан первого-второго веков, начинающих понимать, что Парусия, Второе Пришествие Христа, не наступит завтра. По иронии, средний советский человек, в особенности молодой, относится сегодня к грядущему золотому веку коммунизма с тем же призрением, какое провозвестники коммунизма приберегали для своих описаний религии в стиле «пирога на том свете»^[8].

В конце концов, человек – это всего лишь человек, в особенности, когда это просто соседский парень со своими мелкими недостатками, или тупица за соседним рабочим столом, или надувший вас мясник или продавец, или неотесанный, нетерпеливый водитель автобуса, или грубый, брюзгливый гаишник, или крикливый партработник или карьерист, злой прораб или профсоюзный руководитель, или невоспитанные, избалованные соседские дети. Мы можем сочувствовать больным и страждущим и испытывать искреннее желание помочь им, нас могут волновать рассказы о жертвах войны или стихийных бедствий, но трудно испытывать сильное сочувствие или братскую любовь по отношению к тем, с кем сталкиваешься каждый день и кто постоянно у тебя на виду со всеми своими человеческими недостатками. Чем я обязан человеку с улицы? Почему, из каких-то благородных, но совершенно

абстрактных соображений братства, я должен относиться к этой обезьяне этажом ниже или за соседним рабочим столом «по-товарищески»? Любовь к родным и друзьям – другое дело: она проистекает из самой природы человека, а также из уз взаимного участия и самопожертвования, – но любить все человечество вообще – с какой стати?

А как объяснить то более значительное зло, которое принес с собой коммунизм? Эти люди не понаслышке знали о сталинском терроре; почти у каждого в нашем кругу был друг или родственник или хотя бы знакомый, который побывал в сибирских лагерях принудительных работ. Где же тогда та «человечность», которой так хвалилась эта система? Или аборт. Взять хотя бы аборт. Здесь, в одном только нашем маленьком городке, делалось, по официальной статистике, по пятьдесят шесть аборт ежедневно, а что сказать об остальном Советском Союзе? Это ли не способ воспитать в людях человечность?

В Советском Союзе аборт легален. Аборт сделают любой женщине, которая этого пожелает. Правительство утверждает, что вынуждено было легализовать аборт, чтобы предотвратить подпольную практику. Даже совместный заработок мужа и жены практически не позволяет прокормить более одного-двух детей, поэтому аборт делают все. И все же их преследуют сомнения. Больничные коридоры, прилегающие к кабинетам, где делают аборт, увешаны плакатами, не поощряющими аборт, но, напротив, информирующими пациентов о том, какой физический и психологический вред может нанести им подобная операция. Врачи, медсестры и другие работники больниц пытаются отговорить пациенток от операции. Много лет спустя после аборта женщины признаются, что никак не могут избавиться от чувства вины. И это не «верующие», но обычные женщины и девушки, получившие всестороннее атеистическое воспитание в советской школе.

Даже для коммунизма это основополагающий вопрос жизни и смерти, добра и зла. При таком легком отношении к уничтожению

жизни на самом корню, говорили люди, кто же воспрепятствует распространению подобных умонастроений? Общество? Едва ли. Общество не может даже должным образом позаботиться об уже существующих проблемах преступности и других общественных беспорядков. А когда общество, в сущности, поддерживает зло, к чему это должно приводить? Можно ли верить, что человек своими силами справится с проблемами человечества? Обратимся к истории и увидим, как низко падали одно за другим некогда цивилизованные государства.

В ходе подобных бесед я постепенно переходил к понятиям Бога и религии, греховной человеческой природы и искупления, Христа и Его Царства. Разумеется, что я говорил и как далеко заходил, зависело от того, кто был мой собеседник и какова была его готовность слушать. Мои ближайшие друзья знали, что я священник, и иногда слушали меня с большим интересом; другим я просто признавался со смущением, что я «верующий», и ждал их реакции, чтобы понять, куда может завести такая беседа.

Кому-то становилось любопытно, и мне начинали задавать дальнейшие вопросы; кто-то только пожимал плечами; кто-то принимался яростно нападать на религию и Церковь. Нападки эти всегда вращались вокруг церковных злоупотреблений, которые являются главным козырем всякой атеистической пропаганды: вокруг жадности церковников и того, как Церковь и священники продают за деньги свечи и иконы, вокруг сексуальных извращений священников и монахинь, вокруг политического влияния и Церкви при царе и ее стремления к власти, странных аскетических обычаев и покаянных подвигов «святых» и даже пыток инквизиции. Все, что только возможно вменить в вину Церкви и церковникам с их человеческими слабостями, в мельчайших подробностях обсуждается в школьных курсах атеизма и выставляется напоказ в музеях атеизма. Это единственная сторона Церкви, о которой слышал средний представитель этого поколения, поэтому его неприятие Церкви и религии, основанное на этих искажениях и

полуправде, вполне объяснимо. Я не пытался опровергать эти обвинения: одному Богу известно, можно ли их опровергнуть, – но просто старался вновь перевести разговор на те истины веры, которые имели какое-то отношение к нашей предшествующей беседе о смысле жизни и братстве людей.

Я рассуждал о Боге, о том, каков Он, согласно моей вере, о творении и о замысле Божиим для человека и всего мира. Я говорил о грехопадении и грехе, о том, как человек отверг Бога и Его замысел, о пришедшем в мир нарушении порядка и о зле, досаждающем человечеству по причине этого нарушения, которое мы называем грехом. Я говорил об обещанном Богом Искупителе и о пришествии Христа. Я говорил о поданном Им примере совершенной человеческой жизни, в которой каждая мысль и каждый поступок посвящены исполнению воли Божией, воли Отца, чем восстанавливается тот совершенный порядок, который Бог изначально замыслил для всего человечества. Я говорил о том, что Он претерпел все унижения, какие только могут выпасть на долю человека: родился в нищенских условиях, был беден, тридцать лет провел за скучнейшим, будничным трудом в маленькой, жалкой деревушке, вкусил отвержение, страдание и боль и в конце концов смерть, конец, который приходит к каждому человеку. Я говорил о Его воскресении и торжестве над смертью – этом центральном событии всей христианской веры, которое дает нам уверенность в существовании жизни после смерти, жизни после этой жизни, уверенность в том, что в человеке и в его существовании здесь, на земле есть смысл, который превосходит смерть.

Я говорил о том, что Его пришествие стало началом новой эпохи, нового Царства, началом – но только началом – воссоздания мира в соответствии с изначальным замыслом Божиим, и о том, что все мы должны посвятить себя участию в этом воссоздании и его завершению. Я разъяснял Его учение об отцовстве Бога, в свете которого – и только в свете которого – идея братства всего человечества становится осмысленной, Его учение о любви и

справедливости, об истине и честности, о самопожертвовании и следовании воле Божией – обо всем, что составляет основу христианской этики и совершенствования того Царства, которое Христос пришел установить на земле. Наконец, я говорил о вере и надежде, которую она дает людям, и не только на будущую, лучшую, жизнь, на «пирог на том свете», но и на возможность искупления этого мира и всего человечества.

Я не пытался обращать кого бы то ни было: эти темы были просто моим вкладом в возникавшие сами собой беседы о смысле жизни и предназначении человечества, о братстве и преданности труду в надежде на лучшее будущее, о зле и нравственности, о мире и свободе. Если я не превращал моих собеседников в верующих в ходе этих довольно запутанных бесед, то, по крайней мере, знакомил их с некой альтернативой партийному пути и тому учению, которое они слышали, в которое верили и которое порой вызывало у них вопросы. По крайней мере, я давал иной ответ на беспокоившие их проблемы и говорил им, что, во всяком случае, для верующих существование человека и его жизнь на земле имеют смысл, который не ограничивается чисто человеческими и материальными аспектами. Я не пытался показать им, что у меня на все есть готовые ответы, а у них – одни только проблемы и вопросы; я старался объяснить им, что сомнения и желания, которые они выражают, та внутренняя тревога, которая живет в их душах и сердцах, проистекают из того присущего человеку духа, который естественен, но не сводится к материи. Я вторил св. Августину, говоря, что сердце человека создано только для Бога и не может успокоиться, пока не обретет покоя в Нем. Я не читал долгих проповедей и не давал длительных разъяснений церковного вероучения или Символа веры, как может показаться из вышесказанного, ибо вечера эти были наполнены вопросами, встречными вопросами, аргументами, возражениями и объяснениями, которые вызывали новые идеи, вопросы и объяснения, и, как правило, во всем этом была доля юмора, за которым стояла честность и искренность.

Большинство обычных россиян знает, что в стране все еще существует религия, и многие из них хотели бы побольше узнать об этом. Кроме того, многие до сих пор помнят, как их родители и деды хранили свою традиционную веру и обычаи, как они хотели, по крайней мере, крестить своих детей, и со смесью нежности и грусти вспоминают доброту того поколения, которое позже, в школах, их учили высмеивать за «суеверие». Не вера ли, спрашивают они себя, делала этих стариков такими добрыми? Что заставляло их даже смерть встречать с верой? Они также задаются вопросом, что в религии такого, что побуждает их соседей и сотрудников сохранять свою веру даже вопреки угрозам и насмешкам, мелкой травле и утрате социальных привилегий, вопреки жертвам и страданиям. Действительно ли в ней есть что-то особенное, спрашивают они, и может ли она и вправду иметь такое большое значение и так влиять на человеческую жизнь?

Пример таких мужественных христиан, порождаемое им любопытство и вопросы не приводят к обращению многих, как не приводили к нему и мои долгие беседы и разъяснения. Но они, несомненно, подготавливают почву, на которую упадут семена веры, которые один лишь Бог может посеять в сердцах людей. Бог на чудесных путях Своего Промысла применяет множество средств, чтобы достичь этой цели. Даже коммунизм, чьей явной целью является уничтожение религии и всякой веры в Бога, имеет свое предназначение в Его замысле. Он бесчеловечен, жесток и безжалостен, но он также разрушил немало гнилого и положил начало строительству нового общества, преданного, парадоксальным образом, идее человечности. На чисто материальном, земном уровне его озабоченность идеей человека принесла немало добра: люди, в страданиях – зачастую, несомненно, напрасных, – отвечали на его жесткие запросы с огромной самоотверженностью, в духе преданности и братства, которому могли бы позавидовать многие более христианские государства. Без сомнения, семена веры, которые Бог посеет здесь в

свое время, должны обрести в таких сердцах благодатную почву и принести обильные плоды.

Промысел Божий с Его таинственными, неисповедимыми путями, распорядился так, чтобы мое служение этим людям закончилось. Однако я вспоминаю их с нежностью и грустью и каждый день возношу за них молитвы. Я до сих пор вспоминаю их, как и других моих русских христиан из Норильска и Красноярска, в моей ежедневной утренней Мессе – и жертвую все свои молитвы, труды и страдания за их вечное спасение и блаженство с Богом. Такова – теперь, как и прежде, – по воле Божией, моя роль в Царствии и я принимаю ее каждый день, как принимал всегда.

Эпилог

В этой книге я много писал о воле Божией и о Промысле Божиим. Боюсь, что кому-то из читателей покажется, что даже слишком много, и я лишь могу принести им свои извинения. Другие могут подумать, что мои представления об этих вопросах слишком просты, даже наивны; они могут найти мою веру не только детски простой, но и ребяческой. Мне жаль, если им так показалось, но я писал лишь о том, что знаю и что испытал сам. Многие люди, от журналистов до домохозяек, спрашивают меня вновь и вновь, как мне удалось выжить, проведя столько лет в советских тюрьмах и сибирских лагерях. Я всегда отвечаю – и другого ответа у меня нет, – что выжил я благодаря вере, которая другим может показаться слишком простой и наивной. Поэтому я решил написать эту книгу в ответ на множество вопросов, которые мне задают, в надежде на то, что мое объяснение окажется полезным тем, кому это интересно и кто ищет ответов. Для тех же, кто разочарован, кому трудно принять столь простое объяснение, кто, возможно, надеялся, услышать от меня некую секретную и таинственную формулу, которая изменит их жизнь или укрепит их веру, и не удовлетворен тем, что я написал, я могу лишь выразить свое сожаление и сочувствие.

Возможно, мои слова были бы понятней некоторым, если бы я был богословом и умел лучше объяснять действие благодати и движения души, которые знакомы мне лишь по собственному опыту. Но я не богослов и не умею давать таких объяснений. Все, что в моих силах, это рассказать так просто и честно, как только возможно, о тех простых истинах, которые сам я познал лишь путем проб и ошибок, об истинах, которые я и сам научился ценить далеко не сразу, но лишь после множества душевных мук и молитвенных размышлений, об истинах, которые поддерживали меня на протяжении многих лет тьмы и сомнений, лишений и страданий. Я надеюсь – и молюсь об этом, – что то, что я познавал и к чему шел так болезненно и

медленно, окажется полезно другим. Бог – весьма терпеливый Учитель, я же был очень упрямым учеником. Однако я убежден, что Он преподавал мне уроки, которые я пытаюсь воспроизвести на страницах этой книги, не для меня одного, но для того, чтобы с их помощью я смог помочь другим. С этой мыслью я и взялся за эту книгу, сознавая всю ограниченность своих способностей и слишком хорошо понимая, что у меня нет никаких особых оснований претендовать на то, чтобы читатели выслушали меня и поверили мне, но все же будучи убежденным в том, что, по меньшей мере, частично смысл моего возвращения из Советского Союза (в таинственном замысле Божиим) был в том, чтобы я смог поведать людям то, о чем рассказал здесь. Подобно Исайи, я смущен всем этим и все же чувствую, что должен сказать то, что мне дано сказать.

А потому, вопреки всем своим извинениям, я не стыжусь того, что написал здесь, каким бы простым это ни казалось некоторым читателям. В сущности, все божественные истины страшны своей простотой. И будь то тайны сотворенной Богом физической Вселенной (например, эйнштейново $E=mc^2$), или десять заповедей, или заповеди блаженства, или истина, которой учит нас катехизис, – все эти истины поддаются очень простому определению. И все же как странно, что именно эта простота делает их столь неприемлемыми для мудрых, гордых и искушенных века сего! «Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых», – говорит св. Павел. Действительно ли Бог замышлял так или это мы, в своей человеческой мудрости, слишком горды, чтобы принять эту предельную простоту мудрости божественной? Зачем мы все время ищем более изощренных, более многозначительных, более подходящих ответов, когда правда уже у нас перед глазами: Он уже явил ее нам столь простым и решительным образом?

Человек был сотворен для того, чтобы хвалить Господа Бога своего, почитать Его и служить Ему в этой жизни и обрести блаженство с Ним в жизни будущей. В этом суть. В это можно либо верить либо не верить, вот и все. Философы могут спорить и спорят

на эту тему; одним удалось убедить в этом себя и других, другим не удалось. Но это самая первая истина веры, и те, у кого есть вера принимают ее, те же, у кого нет веры – не принимают. Я не могу убедить других принять ее, но сам принимаю. И я не оправдываюсь за свою веру и не стыжусь ее.

Однако на страницах этой книги я попытался показать, как эта вера влияла на мою жизнь и поддерживала меня во всем, что мне пришлось пережить. Эта вера и есть ответ на вопрос, который мне так часто задают («Как Вам удалось выжить?»), и я могу лишь повторить его – просто и не стыдясь. Мне эта истина говорит не только о том, что человек имеет долг и обязанности перед своим Создателем, как многие склонны ее истолковывать. Мне она говорит о том, что у Бога есть особое предназначение, особая любовь, особый замысел для каждого, кого Он сотворил. Бог заботится о каждом из нас, хранит нас, дает нам все необходимое. Обстоятельства каждого дня нашей жизни, каждого мгновения каждого дня дарует нам Он. И пусть богословы спорят о том, как это происходит, пусть философы и мудрецы века сего сомневаются и задаются вопросом, может ли так быть – истина, которую сам Бог открыл нам в Своем Слове, просто гласит, что это так. Но, быть может, все мы просто немного боимся принять ее со всей ее разительной простотой, ибо последствия ее в нашей жизни одновременно страшны и прекрасны.

Это значит, например, что каждый миг нашей жизни имеет предназначение, что каждое наше дело, каким бы скучным, будничным или обыденным ни казалось оно само по себе, обладает достоинством и ценностью, превосходящими человеческое разумение. Ни одна человеческая жизнь и ни одно человеческое дело не лишены значения в глазах Божиих, что бы ни думал об этом мир, соседи или родственники. И в то же время какая страшная ответственность стоит за этим! Ведь это означает, что нельзя тратить понапрасну ни одной минуты, упускать ни одной возможности, ибо каждая из них имеет свое предназначение в жизни человека и в

замысле Божиим. Подумайте о дне сегодняшнем – сегодняшнем или вчерашнем. Подумайте о делах, которые вы совершали, о людях, которых встречали, восстанавливая в памяти мгновение за мгновением. Что это значило для вас? Что это могло значить для Бога? Слишком ли прост этот вопрос, чтобы отвечать на него, или мы просто боимся задавать его из страха перед ответом, который придется дать?

Сегодня так много говорят о мире, об обязательствах, об их исполнении. И все же никто не может познать большего мира, быть более преданным своим обязательствам, обрести большее чувство полноты жизни, чем тот, кто принимает эту истину веры и каждый день старается воплощать ее в жизнь. Если все это кажется слишком простым, достаточно испробовать это, чтобы понять, насколько это трудно. Но достаточно испробовать это, чтобы испытать также и ту радость, покой и счастье, которые все это способно принести. Ибо что, в конечном счете, может потревожить душу, которая принимает каждый миг каждого дня как дар Божий и всегда стремится творить Его волю? «Если Бог за нас, кто против нас?» Ничто, даже смерть, не может разлучить нас с Богом. Ничто не может затронуть нас, что не исходит из Его рук; ничто не может потревожить нас, ибо все исходит от Него. Слишком ли это просто, или мы попросту боимся по-настоящему верить в это, принимать эту истину во всей полноте и в каждой детали своей жизни, доверяясь ей со всей решимостью? Это основополагающий вопрос веры, и каждый должен сам ответить на него для себя в тишине своего сердца и в глубине своей души. Но ответить на него положительно значит познать покой, открыть в жизни смысл, превосходящий всякое разумение.

Это единственный секрет, который я для себя открыл. Он не только мой; сам Христос говорил о нем, святые жили им, другие писали о нем намного лучше, чем я. Я могу лишь надеяться, что написанное мною затронет в ком-то чувствительную струну и кому-то – пусть очень немногим – поможет. И я молюсь, чтобы в их числе были и Вы.



Уолтер Дж. Чишек

ОН ВЕДЁТ МЕНЯ

Примечания

1

Органы госбезопасности. Система учреждений, обеспечивающих безопасность государства: осуществляющих разведку и контрразведку, а также репрессивные функции внутри страны. В СССР Органы в разное время назывались ГПУ, ОГПУ, НКВД, НКГБ, МВД, МГБ, КГБ. (Прим. пер. По материалам «Справочника по ГУЛагу» Ж. Росси. Overseas Publications Interchange Ltd, London 1987, и Толкового словаря русского языка конца XX века. СПб, 1998).

[Вернуться](#)

2

Запретная зона, или запретка – расчищенная полоса, пролегающая с каждой стороны лагерного заграждения. Запретная зона систематически прочесывалась граблями, чтобы был виден каждый след. Снежный покров делал это излишним. Запретная зона обозначалась колючей проволокой, а иногда просто табличками с надписью «запретная зона». Часовые открывали огонь по каждому, кто пытался туда проникнуть. (Прим. пер. По материалам «Справочника по ГУЛагу» Ж. Росси. Overseas Publications Interchange Ltd, London 1987).

[Вернуться](#)

3

Открытые, или публичные, процессы – процессы, проходившие публично и широко рекламировавшиеся советской властью, в ходе которых обвиняемые сами публично признавали свою вину

(например, московские процессы – процессы виднейших партийных и советских деятелей, в том числе ближайших соратников Ленина; шахтинский процесс; процесс «организаторов голода»; процесс Промпартии). Такого признания вины от подсудимых добивались, применяя к ним «спецмеры», то есть пытки и истязания. При помощи открытых процессов государство доказывало обоснованность своих репрессивных действий, а также возлагало на подсудимых вину за бедствия страны: голод, падение добычи угля и пр. (Прим. пер. По материалам «Справочника по ГУЛагу» Ж. Росси. Overseas Publications Interchange Ltd, London 1987, и книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», М., Новый мир, 1990).

[Вернуться](#)

4

Энкаведешник – сотрудник НКВД (Прим. пер.)

[Вернуться](#)

5

Решение было вынесено ОСО – Особым Совещанием (до 1934 г. – Тройка ГПУ), заочным административным судом органов безопасности. Следственные органы госбезопасности направляли в ОСО те дела, по которым даже советский суд не мог вынести обвинительного приговора по формальным соображениям. Решение ОСО называлось не «приговором», а «административным взысканием». Обвиняемые не присутствовали на заседаниях ОСО, и решение выносилось в отсутствие обвиняемого, а затем просто зачитывалось ему. (Прим. пер. По материалам «Справочника по ГУЛагу» Ж. Росси. Overseas Publications Interchange Ltd, London 1987, и книги А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», М., Новый мир, 1990).

[Вернуться](#)

6

Режимные города – города, в которых ряд категорий бывших заключенных не прописывают (Москва, Ленинград, столицы союзных республик, промышленные центры, транспортные узлы, пограничные города и пр.). (Прим. пер. По материалам «Справочника по ГУЛагу» Ж. Росси. Overseas Publications Interchange Ltd, London 1987).

[Вернуться](#)

7

Гебист – работник госбезопасности (Прим. пер.)

[Вернуться](#)

8

"Pie in the sky" – ставшие крылатыми слова песни, в которой говорится о религии как о последней надежде бедняка. Прим. пер.

[Вернуться](#)